



«КОВЧЕГ»



# КОВЧЕГ

СБОРНИК РАССКАЗОВ

# **Коллектив авторов**

## **Андрей Валерьевич Геласимов**

### **Ковчег**

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=43130880](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43130880)*  
*Ковчег. Сборник рассказов: ИД «Городец»; Москва; 2019*  
*ISBN 978-5-907085-15-2*

#### **Аннотация**

Произведения, представленные в сборнике «Ковчег», трогают до самой глубины души, показывая нам нас самих, но под иным углом, с другой точки зрения. Обычные истории, рассказанные необычными людьми. Истории о любви, привязанности, ответственности и о сложности выбора, его последствиях. Истории, живущие в каждом из нас. Голоса, собранные не случайно, говорящие совершенно поразному, но об одном. Голоса, звучащие в унисон. Голоса, заставляющие смеяться и плакать. Они буквально кричат со страниц о том, что не все еще потеряно, что никогда не поздно стать настоящим и искренним человеком. Поиск правильных идеалов, надежда на лучшее, вера в незыблемые истины – таковы жизненные ориентиры героев первого сборника серии «Ковчег».

# Содержание

Елена Пучкова	5
Кукла	5
Сергей Платон	19
Головастики	19
Седьмое ноября	32
Кулемы	37
Анна Смерчек	54
Счастье из семи букв	54
Невозможная легкость	68
Сергей Кубрин	86
Начальник	86
Конец ознакомительного фрагмента.	98

**Коллектив авторов**

**Ковчег**

***Сборник рассказов***

© Ю. Алехина, А. Гумерова,

© ИД «Городец», 2019

\* \* \*

# Елена Пучкова

## Кукла

*Нас не было тогда на свете,  
Но в памяти отражена  
Та, незабвенная весна,  
Мы тоже за нее в ответе.*

Этот город был далеко от войны. Он не знал маскировки, перечеркнутых бумажными полосками окон, развалин. Но война пришла и сюда. Сначала ее узнавали, толпясь у хрипящих репродукторов, провожая на фронт близких и незнакомых, работая по-новому, для войны. Потом город узнал, что такое смерть. Только сюда смерть приходила как-то спокойно, по-канцелярски, а потому особенно страшно: просто узенькая бумажка, у которой уже появилось имя – похоронка.

Война приезжала в прокопченных теплушках, битком набитых эвакуированными, в строгих и тревожных санитарных поездах. И постепенно вошла в быт, обернулась мелкими житейскими неурядицами, да и прижилась...

Из квартиры стали уходить вещи. О первых еще тоскова-

ли, как о чем-то дорогом, потерянном невозвратно. Потом привыкли. На всю зиму застыли батареи парового отопления, в форточки потянулись кривые шеи «буржук». Электричества не хватало, и тоненькие, слабые язычки коптилок усердно, но тщетно стали слизывать темноту.

Люди привыкают ко всему. Привыкли и к этому. Постаревшая, изуродованная и даже уже приспособившаяся к своему уродству жизнь продолжалась.

А Ефросинья Петровна не могла никак успокоиться. Она подолгу пропадала на заводе, хотя у нее, рядового заводского бухгалтера, не очень-то прибавилось работы. Приходя домой, слушала радио и плакала потихоньку, будто оставленный нашими войсками город – ее родной город, и даже представляла себе какой-то уютный домик на окраине, обязательно с березкой и старенькими ходиками. Представляла, как этот домик горит, а ходики стали, потому что хозяева погибли и некому их завести. И потом целый день ходила с красными глазами и сморкалась в продранный кружевной платок.

– Что с вами? – спрашивали ее сослуживцы. Но она только сморкалась, отводила глаза и вздыхала.

Однажды в комнату Ефросиньи Петровны протянулись через чисто вымытую кухню две дорожки мокрых, холодных следов. Одни следы были большие, сбивчивые, другие – маленькие, торопливые. Две фигурки в зябких пальто несмело

остановились на пороге. Осунувшаяся женщина, будто извиняясь, суетливо рылась в сумочке, когда-то лакированной, а теперь покрытой тонкой сетью морщин, но не старческих, а каких-то болезненных, преждевременных. Рядом переминалась маленькая серьезная девочка, все время поправлявшая старое одеяльце, в которое была завернута кукла. Руки у девочки были красные и неповоротливые от мороза, но она все поправляла одеяльце и пришептывала:

– Видишь, здесь тепло, Светка. Ты теперь согрешься, ты спи, ты не плачь.

А у женщины из сумки посыпались разные бумажки: узкая похоронка, истрепанное свидетельство о рождении, какие-то телеграфные квитанции, хлебные карточки. Она все извинялась, спешила и наконец протянула Ефросинье Петровне бумажку, где было написано, что эвакуированная из Воронежа учительница Л.М. Сорокина с дочкой будут жить у Е.П. Нестеровой.

Ефросинья Петровна забежала по комнате, стала усаживать гостей и вдруг вспомнила, что они не разделись, кинулась раздевать девочку, волнуясь и все путая. Девочка сказала: «Я сама».

Она разделась, неторопливо, чинно и аккуратно складывая на сундук свою незамысловатую одежду. Раздевшись, подошла к матери и, не говоря ни слова, стала снимать с ее ног ботинки, опустившись на колени.

Ефросинья Петровна бросилась помогать, и тогда девочка

вместо благодарности подняла большие, по-взрослому усталые глаза и проговорила коротко:

– Она больная. И устала. Мы замерзли. Мне ничего, а она – больная.

Наконец женщину раздели и уложили. Ефросинья Петровна сняла довоенный пуховый платок, подаренный еще покойным мужем, и укутала ноги госты. Женщина все время молчала, только часто-часто моргала, а когда ее уложили, заплакала, тихо, будто боялась помешать окружающим. Девочка погладила ее руку и прошептала:

– Ну не надо, мы же договорились. Не надо. Теперь все будет хорошо.

– Да, да, все будет хорошо, – машинально повторила Ефросинья Петровна и побежала на кухню за чаем и хлебом.

Выглянула соседка:

– Кто это у вас? Ох, наследили-то как! Вы бы хоть вытерли.

– Да, да, я сейчас, – заторопилась Ефросинья Петровна. – Эвакуированные это, из Воронежа. Женщина совсем плоха, а девчушка, будто взрослая, серьезничает все, но, видно, здорово есть хочет. Я уж соберу поскорее, что найдется.

Соседка сглотнула слюну, моргнула, постояла, борясь с собой. И вдруг, решившись, буркнула:

– Погодите немного.

Она исчезла у себя в комнате, загремела посудой, что-то уронила, чертыхнулась и наконец вынесла блюдо с лохма-

тыми кусками застывшего джема.

– Вот. Дайте девчонке. Сегодня случайно в шахтерской столовой достала.

Ефросинья Петровна, постелив на стол старую, стертую на сгибах клеенку, несколько раз переставила стаканы с места на место, передвинула блюдце и воткнула в джем витуую серебряную ложечку, которая почему-то оказалась непроданной, начала резать хлеб тонкими красивыми кусочками, но, посмотрев на женщину, раскроила на большие аппетитные ломти. Потом глянула на стол с сожалением: не получилось сервировки, – и вздохнула.

Женщина задремала. Лицо ее, воспаленное, с красными пятнами на лбу, щеках, подбородке, все время менялось, скомканное болью. Девочка, по-хозяйски расположившись на сундуке, перепеленывала куклу. Маленькие пальцы с обгрызенными ногтями, под которыми виднелись полоски грязи, нежно и ловко завертывали в одеяльце довольно крупный шероховатый, с неровными краями осколок снаряда.

Ефросинье Петровне вдруг захотелось закричать, вырвать у девочки осколок, но она сдержалась, закрыла глаза и осторожно, пошарив, оперлась рукой о стол.

«Вымыть девчущку надо. Заусенцев-то сколько. А она, наверное, тяжелая... кукла эта».

Нужно было что-то сказать, и Ефросинья Петровна сказала самое простое и неважное:

– Тебя как зовут?

– Меня Ира. А ее Светка. А вас как зовут?

Ефросинье Петровне захотелось погладить Иру по голове, но было почему-то неловко. Может быть, потому, что рядом с детской наивностью в девочке уживалась такая зрелость, что она казалась старше и мудрее Ефросиньи Петровны. И невольно подумалось: «А вдруг она возьмет – и меня погладит».

– Тетей Фросей зовут. Ну, чай будем пить. Иди, буди маму.

– Не надо ее будить, лучше она потом, а то ей опять больно будет.

Женщину не разбудили. Но все-таки ей стало больно. Руки дрогнули, заметались, взлетели и тяжело упали на одеяло. Потом выбился сквозь сведенные губы стон, долгий и робкий, как будто стыдливый. Этот стон приподнял с кровати тело. Оно напряглось, борясь с бессилием, но сразу же обмякло, упало в подушки и забилося в беззвучном плаче. Плакали плечи, руки, грудь. Только глаза, неожиданно разжавшиеся и испуганные, – не плакали.

Накинув платок, Ефросинья Петровна побежала звонить в «Скорую помощь», а Ира гладила тонкую, исчерканную синими жилками руку матери и пришептывала:

– Не надо. Ну не надо, ты спи. Здесь тепло. Теперь все будет хорошо. Не надо...

Вернулась Ефросинья Петровна. Приехали врачи. Женщину долго одевали и укладывали на носилки, а потом унес-

ли. Ефросинья Петровна пошла проводить врача, ничего не понимая и не пытаясь понять, но согласно кивая головой, когда врач говорила, что это истощение, что теперь уже поздно, что утром нужно позвонить в больницу. А потом Ефросинья Петровна долго записывала на обрывке газеты адрес детдома и фамилию заведующего, а сама думала: «Откуда взялся карандаш? Может, соседка дала? Так где же тогда соседка? Нет... Откуда взялся карандаш?»

Давно уже уехали врачи, уснула Ира, всхлипывая, уткнувшись в подушку. Давно уже соседи обсудили на кухне все необычайные события вечера, решили, в какой детский дом нужно отдать девочку, и, зевая, разошлись по своим комнатам. А Ефросинья Петровна все еще не гасила коптилку, все еще сидела перед стаканом с недопитым чаем и думала, думала...

Она уже знала, что Ира останется у нее, что нельзя эту девчушку никуда отдать. Как они будут жить – об этом она не думала. Как-нибудь проживут. Ей только очень хотелось, чтобы у Ирочки была кукла, настоящая, большая, красивая, в накрахмаленном ситцевом платье. Почему-то, наверное, от усталости, это казалось сейчас самым главным и важным.

На другой день, когда Ефросинья Петровна вернулась с работы, Иры дома не было. В комнате все прибрано, аккуратно застелено, хотя впервые сегодня Ефросинья Петровна ушла, не притронувшись ни к чему. На столе притулилась

к коптилке бумажка, написанная крупными печатными буквами:

«Тетя Фрося! Мне тетя Поля достала случайно в шахтерской столовой немного молока. Я понесла маме в больницу».

Ефросинья Петровна забеспокоилась: как же она пошла? Мороз крутой сегодня, а у нее варежек нет. Замерзнет девочка.

– Замерзнет девочка, – говорила она на кухне соседке, засыпая в кипяток остатки пайкового пшена.

Соседка хотела ответить, успокоить: она дала Ире старые дочкины носки, чтобы надеть вместо варежек, – но в это время за дверью поцарапались, толкнулись, и вошла Ира, туго сведенными пальцами стискивая баночку с мерзлым молоком.

Девочка не заметила растерявшихся женщин и прошла прямо в комнату. Ефросинья Петровна бросилась следом.

– Ну что, как она?

– Не взяли. – Ира сидела, не отпуская из рук банку. Усталым равнодушным голосом пояснила: – Молоко не взяли. Сказали, уже не нужно.

Ефросинья Петровна бросилась к девочке, хотела заговорить ее, заласкать, чтобы хоть на минутку забыла, чтобы согрелась хотя бы, – но смолчала. Взяла у девочки молоко, растерла ее скованные морозом руки, раздела. А потом сказала спокойным голосом:

– Ты сиди, грейся. А я тебе это молоко вскипячу. Тебе

надо сейчас горячего молока.

Очень трудно заметить движение времени. Только какое-нибудь событие может заставить увидеть, что вот промелькнули часы, прошли месяцы, утекли годы. А у Ефросиньи Петровны и Ирочки никаких особенных событий не было.

Ефросинья Петровна приносила с завода старые конторские книги. Ира делала из них тетради и решала задачи все более сложные, но как-то не замечалось, что более сложные, потому что все происходило постепенно. И писала упражнения по грамматике, а потом изложения и сочинения, но по-прежнему казалось Ефросинье Петровне, что девочка ее еще маленькая. Давно уже была заброшена «Светка», и Ефросинья Петровна спрятала игрушку на дне сундука, там, где хранились документы и фотографии покойного мужа, засушенный букетик ландыша и бумажка, в которой написано, что учительница Л.М. Сорокина, эвакуированная из Воронежа, будет жить у Е.П. Нестеровой...

Уже несколько месяцев, как была не нужна коптилка: еще тускло, но уже светил под потолком маленький пузырек, наполненный засиженным мухами светом. И только сгусток копоти на потолке напоминал о том, что электрическая лампочка не светила какое-то время – может быть, пять минут, а может, три года...

Но однажды Ефросинья Петровна увидела в магазинной витрине кукольную головку. Головка была важная, с тугими,

лоснящимися щеками и круглыми голубыми глазами. И сразу же сердце зашлось, и снова, как в тот далекий, хлопотный вечер, показалось самым главным и важным, чтобы у Ирочки была кукла. Ефросинья Петровна в минуту подсчитала, на чем она сэкономит, из какого чересчур нарядного для ее сторбившейся фигуры платья можно будет сшить кукле полный гардероб, а шить можно вечерами, в завкоме. Ее накрепко охватила почти детская нерасчетливая радость – у Иришки будет кукла!

В магазин Ефросинья Петровна вошла торжественно, даже ноги вытерла, чтобы не наследить, хотя и видела, что наследить негде: так захламленно и грязно было перед прилавком. Она медленно отсчитывала деньги и все время улыбалась кассирше, а в голове вертелось назойливой мухой, что мяса завтра не придется купить, – это мясная трешка, хлеба придется купить только на ту мелочь, что завалилась за подкладку пальто, – это хлебный рубль... Муха жужжала, жалила, а радость все равно не уходила – это была прочная радость.

Теперь Ефросинья Петровна возвращалась с работы поздно, осунувшаяся, усталая, но очень довольная. Она долго, кряхтя, укладывалась, кутаясь в зябкое одеяло, давно уже отслужившее свое. Ира перебиралась к ней и трогала тонкими пальцами узенькие, теплые морщинки...

– Тетя Фрося, опять ты сегодня допоздна. Смотри, устала как, ты бы береглась лучше. Ты ведь самая, самая нужная.

Но Ефросинья Петровна сердилась, хотя все в ней тянулось к этой ребячьей угловатой ласке.

– А ты учись, как хлеб зарабатывают. Он ведь, хлеб, отдыха не любит, на дороге не валяется. И марш спать. А то завтра будешь на контрольной носом клевать! Ну, чего сидишь? Я ведь дело говорю.

Ира шлепала босиком через всю комнату, а Ефросинья Петровна ворчала:

– Да укройся, смотри, хорошенько!

И вот наконец наступил этот день. Кукла получилась веселая, нарядная, накрахмаленное платье на ней так и топорщилось, так и звенело, даже прохожие на улице, когда важная и торжественная Ефросинья Петровна несла куклу домой, оборачивались на этот звон.

И вдруг вырос на пути солдат, вырос и загородил дорогу. Сапоги у него с блеском, только по самому ранту бугорки засохшей грязи – не уберег. Шинель распахнута. На гимнастерке ордена и медали звенят – награды, а рядом – узенькие желтые нашивки, короткая пометка о долгих страданиях. Стоит, переминается с ноги на ногу, хочет сказать – и трудно, неловко, наверное. Мялся, мялся и выговорил наконец:

– Слушай, тетка! Продай. Душевно тебя прошу, продай свою барышню. Разве такую купишь сейчас? А я, понимаешь, домой еду, дочка... Так никаких денег не пожалею! Продай. А?..

Сколько мыслей может пронестись в голове за какую-то долю секунды, сколько чувств, трудных и неуживчивых, может поместиться в сердце. «Отдать, просто так отдать! Ведь живой вернулся, к дочке едет. Или продать? Пусть немного денег, а все-таки для Ирочки хлеб, масло... Нельзя ему дальше без куклы идти, нельзя!»

– Не могу! Ты пойми меня, не могу. Целый месяц для девочки шила, для сироты. У нее кукол никогда не было, а ведь нельзя же так – все детство без кукол. Ты прости...

Солдат помялся, буркнул какое-то некстати прозвучавшее извинение и пошел, утирая пот со лба и бормоча что-то досадливое и смущенное. Потом он повернул за угол, будто и не было его. Но кусочек радости он у Ефросиньи Петровны унес.

Ира только и нашлась сказать:

– Ооо!

Она смотрела то на куклу, то на тетю Фросю, тихо смеялась и осторожно трогала гипсовые румяные щеки. Потом она бережно усадила куклу на кровать; почти не касаясь, расправила звонкое платье; и вдруг обхватила Ефросинью Петровну, неловко ткнулась холодным носом в морщинистую щеку, да так и приникла, так и замерла...

Ефросинья Петровна гладила ее волосы, плечи – что под руку приходилось. Только теперь заметила она, как вытянулась Ирочка, какая стала длинноногая, нескладная, только теперь поняла, что ей, наверное, уже и не нужна кукла. Губы

зашевелились, скомкались и нехотя улыбнулись.

– Ну хватит, дочка. Порадовались, и хватит. У меня забот полон рот, да и ты человек занятой, серьезный.

Ефросинья Петровна долго гремела на кухне кастрюлями, на вопросы соседей улыбалась:

– Обрадовалась, конечно. Как не обрадоваться! – А сама все думала: «Как она дальше сложится – жизнь?!»



# Сергей Платон

## Головастики

Чем старше становится человек, тем меньше ему нравится война. Наверное, самая популярная во всем мире, игра в войну по-настоящему любима только маленькими людьми и детенышами животных.

С каким же наслаждением едва вставший на ноги человечек лупит первой попавшейся под руку палкой по первым попавшимся на его пути препятствиям, не важно, по птицам, качелям или кустам! Как радостно гоняется за кошками, барахтается с собаками, с каким восторгом бросается в потешные рукопашные бои с друзьями! Маленький ближе к природе. Подрастая, он уже не так восторженно относится к шуточным потасовкам, боям, приключениям, дракам, погоням, атакам и даже победам.

Пашка пока очень любил войну. Любил своих оловянных солдатиков гораздо больше, чем головастиков, живущих с весны до осени в красной пожарной бочке рядом с его домом.

Солдатиков было всего два, однако в войнах они уже совершенно спокойно участвовали и побеждали. Как только рядом вставали пластмассовые ковбои и рыцари, сразу полу-

чалась хорошая армия, моментально пугающая плохих противников, которых Паша называл захватчиками. Плохая армия была намного сильнее, коварнее, злее, командовал ею хитрый маленький чукча, вырезанный из белого рога или какой-то кости. В дальнем углу ковра этот чукча выстраивал в ряд двух резиновых слонов, медведя, тигра, за ними – десяток свирепых индейцев, следом – машинки и мотоциклистов, а потом – мелких обезьян, собак и кошек. Сам он сидел на перевернутом ведерке, наблюдая за ходом сражения в театральный бинокль. Ну, как бы наблюдая, будто бы в бинокль, поскольку тот на самом деле был во много раз крупнее гадкого агрессора и просто лежал рядом.

Войнушка выходила увлекательной, шумной. Эти дерзко нападали, завоевывали, штурмовали, а наши героически сопротивлялись, защищая родной замок – вертикально поставленную обувную коробку под столом. Оловянные командиры, уже израненные в боях (у первого обломился штык, у второго отвалилось дуло автомата, а широкие лица под касками покрывала у обоих паутина шрамов-царапин), были все-таки непобедимы. И это правильно, ведь они свою родную землю обороняли. Ура! И очень хорошо, что у них был жестяной самолет и бомбы разной мощности, сделанные из разобранной матрешки. В общем, как и положено, в войне всегда побеждали хорошие, высокие, благородные.

Победа рождала тихое удовольствие, можно было долго-долго лежать, уткнувшись щекою в колючий ковер, и ра-

достно обозревать поле боя, в центре которого гордо стояли высокие полководцы.

С тем же удовольствием Павлик наблюдал за войнами головастиков, положив подбородок на шершавый край бочки. Внутренние стенки подводного мира были ровно покрыты бархатной ржавчиной, по зеркальной поверхности сновали водомерки, а в прозрачной глубине друг за другом носились стайки крохотных одинаковых рыбок, немного похожих на его солдатиков, такие же светлые и крупноголовые. Что-то там у них постоянно происходило, кто-то за кем-то безостановочно гонялся, кто-то убегал и прятался. Лишь жуки-плавунцы никого не боялись, спокойно всплывали к поверхности, выныривали на время и так же вальяжно опускались на дно.

– Паша, подушку! – скрипучим шепотом скомандовал дедушка со своей койки.

– Какую?

– Большую.

Дедовы подушки лежали на кресле-кровати у тумбочки. Каждое утро, собрав свою постель и кресло, Паша выкладывал аккуратную пирамиду из разных подушек, а в течение дня то приносил их деду, то относил обратно.

– Вот, хорошо. Хоть посижу чуток. Кто у тебя сегодня победил? – косо улыбнулся дед, привалившись спиной на горку из диванных валиков, старых одеял и подушек.

– Наши.

– Если наши проиграют, наши вашим напинают! – хохотнул дедушка и тихо закашлялся. – Чего это у тебя все время наши выигрывают? Враги у них дураки, что ли?

– Наши хорошие, – уверенно ответил Пашка.

– Хорошие потому, что родину спасают? Так, что ли?

– Да! Наше дело правое!

– Молодец! Наша порода, башковитая! В том году, когда в школу пойдешь, я тебе за каждую пятерку буду солдатика покупать, вот и будет у тебя нормальная армия. Почем у Физы солдатик стоит?

– Пять копеек.

– Вот, отлично! За каждую пятерку – пятак.

– В том году – это когда?

– А вот сейчас эта осень наступит, зима придет, новый год, потом весна, лето, а потом, следующей осенью, прямо с первого сентября – «в первый раз в первый класс».

– Долго, – расстроился Павлик чуть не до слез. Дед говорил о каком-то невероятно далеком будущем, а солдатиков хотелось теперь, сегодня.

– Ну-ка отставить, рядовой! Солдат не плачет! Понятно?

– Понятно, – проскулил Паша, сдержав слезы.

– Собирай игрушки – и гулять. Дрова на обратном пути захвати, полешка четыре.

– Тепло же.

– Тебе всегда тепло, а ночами-то сыро уже, выстужается

дом. Родители придут со смены, мы им печку-то и разведем. Топай-топай, я посплю пока. Подушку убери.

Баба Физа была на своем обычном месте рядом с киоском «Союзпечать» у троллейбусного кольца. Перед ней, на крышке фанерного ящика, на свежей газете, стояли ряды прекрасных новеньких солдат, в этот раз – с винтовками и в касках. В киоске тоже было на что посмотреть, за высокими стеклами стояло и висело множество интересного, но Паша никак не мог отвернуться от блестящих на солнце одинаковых касок и солдатских лиц с едва распознаваемыми чертами.

– Пять копеек за штуку, – склонилась к нему продавщица солдатиков, утирая зеленой косынкой широкую шею и подбородок. Физа сидела на самом солнцепеке и уже насквозь пропиталась потом. – Жарища, да? – выдохнула она, обмахнулась картонкой и привычную скороговоркой отбарабанила: – Пять копеек. Пять копеек. Пять копеек за штуку!

Напутал что-то дедушка: троллейбусы, дома, киоск, асфальт, деревья в палисаднике, завод через дорогу, сарай, огороды, редкие прохожие – все побелели на улице от солнечного жара. Какие тут дрова в такую-то жарынь, зачем они? Вон, даже солдатикам жарко.

– А с автоматами будут? – решил спросить Пашка.

– Э-э! Ты этих сначала купи! Будут потом и с автоматами, и пограницы с собаками, и конники! Что, денег нет?

– Нет.

– Э! Ложки-вилки тогда неси, сеточки из аккумуляторов. За двести грамм – солдатик. Бери олово, алюминий, свинец. Пять копеек за штуку! Пять копеек! Пять копеек! Айда, пойдите там за гаражами с мальчиками, там все время аккумуляторы выбрасывают. Пять копеек за штуку! Пять копеек!

От неожиданной радости у Паши немного закружилась голова. Он все понял. Он уже бежал как угорелый в сторону гаражей через тополиную рощу. Ах! Это же уже сегодня можно будет взять себе солдатиков, не дожидаясь того года! Витрины киоска и бочка с головастиками тоже могут спокойненько подождать, надо срочно разыскать ложки и сеточки. По дороге он встретил дворовых мальчишек, быстро все им рассказал. Те с удовольствием присоединились к поискам алюминия и свинца.

Копаясь в мусорных слоях огромной свалки, они задорно горланили уморительно смешную песенку. Как выразился Сашка, уже первоклассник и уже успевший побывать в пионерском лагере, настоящую отрядную песню: «У солдата выходной, пуговицы в ряд. Ярче солнечного дня, пуговицы в ряд. Часовые на посту, пуговицы в ряд. Проводи нас до ворот, пуговицы в ряд. А солдат попьет кваску, пуговицы в ряд. Никуда не торопясь, пуговицы в ряд. Карусель его помчит, пуговицы в ряд. И в запасе у него – пуговицы в ряд».

К вечеру удалось насобирать целую сумку нужных железок. Пока волокли эту, найденную там же, на свалке, драную

сумку без ручек через тополя, были счастливы, а вот на троллейбусном кольце их ожидало разочарование. Ящик стоял на месте, но ни бабы Физы, ни солдатиков рядом с ним не было. И ждать не имело никакого смысла – солнце уже усаживалось за горизонт, развесив по темному небу мелкие вишневые облака. Припрятав только им понятное сокровище в кусты палисадника, пацаны разбрелись по домам.

Всю следующую неделю Паша начинал каждую прогулку у киоска, садился на ящик и ждал. Он был уверен, что дождется. Однако Физа почему-то не появлялась. Как так-то? Обещала же солдатиков за ложки, а сама куда-то делась. Однажды маленькая бабушка-киоскерша, аккуратно забинтованная белым платком, подсказала, где найти бабу Физу. Та, как выяснилось, жила совсем рядышком, в первом подъезде двухэтажного барака, в квартире номер один. Собравшись с духом, Павлик ходил туда несколько раз и даже стучал в деревянную дверь, но ему отвечали, что Физы нет дома. Теперь он ждал у подъезда на лавочке, прямо под окнами ее кухни. Должна же она была хоть когда-то вернуться домой.

Через неделю он дождался. Через неделю он и разлюбил войну.

– Ой, война-война, будь она проклята... – пропела из открытого окошка невидимая тетенька под бряканье кастрюльных крышек. – А что это за имя-то за такое: Физа? Какое-то не наше.

– Наше, наше, только басурманское оно. У меня золотку так зовут. Хорошая девочка, смешная такая, все время всем рассказывает, как ее имя переводится. Физа – значит серебро или серебряная монетка. Правда, красиво? Тебя вот как зовут?

– Тома. Ну, Тамара, в смысле...

– Знаешь, как переводится?

– Не, не знала никогда.

– А эти – знают все.

– Физа – серебро. Надо же...

– Ой, бедная она, бедная. Воевала, оказывается. Инвалидность-то получила не за завод, а за войну. Куда ты столько луку сыплешь?

– А сколько надо?

– Половину – в самый раз!

– Так чо там Физа?

– Физа, Физа... Пенсия тебе – не фронтовой паек и не зарплата, а кушать каждый день хочется. Только солдатки ее и кормили. Сама все отливала, формовала, отделявала. «Уралмаш» на дому устроила, понимаешь ли. Сталевар! Представляешь, тигли настоящие себе завела, сплавы готовила, формы сама делала.

– Хорошие солдатки получались?

– Кривые-косые, как нет-то? Но народ покупал.

– И куда она подевалась?

Пашка напряг весь свой слух. На минутку конечно же ста-

ло неловко. Понимал ведь, что подслушивать нехорошо, но узнать о случившемся было необходимо. Он почувствовал свое законное право на это знание и поэтому слушал.

– В дурку увезли, там и отошла.

– Чо такое случилось-то?

– Ты вообще не в курсе, что ли? Дочка к ней с зятем приехали, богатые такие, чистые, с дорогими подарками. А зять-то – настоящий немец из ГеДеЭР оказался. Так она же их выгнала к чертовой матери, понимаешь ли. А потом параличом ее сразу разбило, а она все орала чего-то про немецкую овчарку, бедная.

– И где это, интересно мне знать, наши дочери могут немцев себе найти?

– УПИ она у нее закончила, еще в Москве потом училась, понимаешь?

– И чо?

– Обмены там у них с Европой всякие, аспирантуры.

– Ничего себе. Кто теперь в этой комнате будет жить?

– Вот-вот-вот. Мы с тобой, как соседки, имеем самое полное прямое право! Тома, послушай меня, – забирай!

– Мне куда эта комната, я и так кое-как плачу.

– Тогда я заберу.

– Забирай себе на доброе здоровье... Ой, война-война...

Надо же... – тихо ответила соседка Тамара.

На той скамейке Павлик ясно понял, что солдатиков он уже никогда не дождется. Ну и пусть. Их уже не хотелось. С

тех пор он больше не играл в войну. Его загадочный средневековый замок под столом как-то просто и сразу превратился в обычную обувную коробку с игрушками.

Осенью он увидел в поленнице дров те самые тигли и формы и тех самых, когда-то до головокружения любимых солдатиков от бабы Физы. Днем у сараев кто-то наколот дрова, а вечером кто-то выбросил рядом кучу солдатиков, ложек и аккумуляторных сеток, наверное, соседки. Можно было взять всю эту армию сразу, целиком, только руку протянуть. Не взял. Вот же как, их не то что брать, их даже видеть не хотелось!

Ночью Паша узнал наконец, почему дедушка спит днями напролет. Оказывается, все ночи он стонет. Война, будь она проклята! На чукчу и игрушки наплевать, а вот двух раненых солдатиков было просто необходимо вернуть своим, туда, к поленнице, чтоб они были вместе все. Павел тихо прыгнул в отцовские валенки, прислушался к тихой шторке, за которой сопели родители, осторожно схватил в ладошку обоих солдатиков и плавно повернул ключ входной двери.

Над черными дровяниками сияло звездное небо. Как же там, во дворе, было холодно и красиво! Все силуэты дворовых построек залиты сверху синим светом огромной луны. А под ногами, с каждым шагом, звонко хрустели ледяные лужицы. Кучи солдатиков в поленнице уже не было, кто-то их уже прибрал. Паша даже и не сомневался, куда пристроить своих раненых солдат на крайний случай, он все заранее преду-

смотрел. Бойцы отважно нырнули в бочку, прямо в ледяное отражение луны, на самое дно, зимовать к головастикам...

Много-много лет спустя, живя уже совсем в другом конце города, на последнем этаже новой уралмашевской высотки, рядом с проходной уже другого завода, Пашка припозднился, возвращаясь домой с дежурства. В лифте он рассеянно придумывал, чем возразить на слово жены «опять», однако же лифт у них был скоростной, и он снова ничего убедительного не придумал. Работа, ничего не поделаешь.

– Ну, ты опять? Все у нас по-прежнему. Выходные-то не забрали хоть? – неожиданно умиротворенно спросила Ленка, выглянув из ванной комнаты и махнув, как флагом, полосатой простыней.

– Выходные наши, не волнуйся!

– Я сейчас достаю уже. На кухне там подарок посмотри пока.

– Головастик спит?

– Час почти вертелся, успокоиться не мог. Потом сам понял: чем быстрее заснет, тем быстрее день рождения наступит, и сразу засопел.

Павел оставил ремень и фуражку в прихожей, а китель понес в гардеробную. Переодевшись там, сдвинул занавесы из постельного белья в коридоре, шагнул в кухню и оторопел. В центре стола, под лампой, лежала потрясающе красивая упаковка оловянных солдатиков. Тех самых, из его детства!

Под прозрачным плотным пластиком, на красочном картоне с яркой надписью «Rote Armee», в пять рядов была выложена сотня удивительно аккуратно отлитых фигурок. Действительно, Красная армия... красота! Там были пограничники с собаками, бойцы с винтовками и с автоматами, солдаты в касках, фуражках, папахах, матросы в бескозырках, танкисты и летчики в шлемах, даже несколько генералов в шапках с кокардами. На обороте сиял логотип «MADE IN GERMANY», а чуть ниже штрихкода мелким шрифтом было написано: «Hergestellt in Deutschland».

Как о вчерашнем дне он вспомнил и о тополях, и о смешной отрядной песне, и о бочке с головастиками. Мгновенно припомнился и дед, и первый дом, и троллейбусное кольцо у проходной завода, киоск, сараи, гаражи, бараки и конечно же баба Физа с ее корявыми солдатиками. Почему-то у нее они всегда получались какими-то шибко большеголовыми, что-то там, видимо, с формами было неверное.

«А ведь те солдаты больше на нас походили, – подумал Паша, улыбнувшись, – на меня, на отца и на деда. Такие же глобусы вместо голов. Башковитая наша порода, да. Вон, за стенкой, еще один головастик растет».

Захватив сигареты, он вышел на балкон. Над миром висела та самая, бледно-синяя луна. Вот где была красота! Внизу копошился город, сновали автомобили, по освещенным улицам и переулкам двигались муравьиные цепочки прохожих, у основания дома дремал темный парк, напоминающий свер-

ху ровно подстриженный газон. В эту-то тьму Павел и бросил неудачный подарок, нисколько не усомнившись в правильности решения.

– Ты что, с ума сошел? Ты что, их выбросил? – спросила Лена, вытаращив глаза. Она еще не успела обидеться, просто не разобралась и ждала объяснений.

– Не надо ему это дарить.

– Почему?

Пашка не стал подыскивать нужные слова и что-то втолковывать, избегая скандала, он просто взглянул на жену. Лицо мужчины на секунду исказила реальная боль. Взгляд этот получился излишне тяжелым, но ведь не мог он быть иным. Ленка все поняла, она не обижалась.

– Не покупай ему ничего военного никогда, пожалуйста.

– Хорошо.

– Завтра пойдем в зоопарк! – улыбнулся ей Паша.

## Седьмое ноября

Вечер главного советского праздника скатился во двор слишком резко, будто бы невидимый дяденька-великан выключил в городе дневной свет. Двор изменился неузнаваемо, из него совсем пропали краски.

Точно так же преобразалась и наша белая комната, когда мама щелкала выключателем, уложив меня в белоснежную постель на огромную подушку с хрустящей крахмальной наволочкой, на столь же жесткую и немного прохладную простыню, под тяжелую перину в таком же жестко накрахмаленном пододеяльнике. Очертания мебели были на месте, но за ними висела чудесная чернота. Было страшно и интересно смотреть в нее перед сном. Изредка за окном проезжала машина – темнота тогда съеживалась, уползала под стол и за шкаф, пряталась за комодом и печкой, возвратив на секунду наши белые известковые стены и потолок.

Я представлял себя маленьким белым медведем из мультика, устроившимся на ночлег в сугробе. Накрывался одеялом с головой и наблюдал в тонкую щель за непонятной темнотой, как зверь из норки. Она была живая, эта темнота. В ней что-то где-то там происходило. Мне было страшно интересно пробовать увидеть это «что-то-где-то-там» и хоть немного разглядеть, понять. Я, семилетний, уже знал, что в темноте бывают звезды, месяц, северное сияние. Ничего та-

кого домашняя тьма не показывала, однако я был уверен, что она – принадлежащая нам с мамой часть большого темного пространства, и даже знал, как оно называется, – космос.

И вот тогда, седьмого ноября, я вдруг почувствовал, как этот космос водворился не только во дворе, но и во всем городе.

Прошедший солнечно-праздничный день остался в прошлом, будто не было его. Там же остались флаги, шарики и транспаранты «демонстрации трудящихся» у заводской проходной, веселые группы шумящих соседей и маминых коллег, поющих хорошие песни под аккордеоны и гитары, перекрикивая зычный духовой оркестр. Пропала удивительная радость от первой в моей жизни поздравительной открытки со сказочными башнями Кремля. Моя личная открыточка занимала свое место рядом с другими за стеклом серванта, куда их было принято выставлять рядком к каждому празднику. Я решил, что подробно ее разгляжу и порадуюсь завтра при свете. Завтра же ожидалось еще много праздничного: нужно было придумать, как поступить с большой конфетой «Гулливер» в потрясающем фантике, где долговязый дядька тянул за собой на веревочках крохотные корабли. Съесть ее было жалко, хоть и очень хотелось. Пока ведь можно было есть зефир, вон его сколько много подарили утром, а тем временем нарисовать конфету или срисовать кораблики. Но это – завтра.

Странное наступило время, остановившееся. Я один. До-

мой идти рано, а все разбежались. Целый час еще можно гулять, а качели и горка пустые. Праздник, вообще-то, не кончился, за всеми окошками – музыка, крики и свет. В нашем доме на берегу реки Исеть жили только трудящиеся, и они продолжали отмечать свой любимый «красный день календаря».

Интересная цифра – семь. Весь день я разглядывал на открытках, плакатах и транспарантах красивые красные семерки.

Спрятав санки под горкой, сначала хотел было сходить к старому тополю и уже заглянуть в его темное, очень таинственное дупло, поскольку давно собирался, да и узнать наконец, кто там живет. По дороге передумал, поднялся на мост, построенный какими-то чудесными «пленными немцами», которых я никогда не видел. За хрустальным заборчиком деревянных перил открывался широкий вид на совершенно ровную снежную простыню замерзшей речки и высокое черное небо из той самой космической тьмы с мелкими снежными звездами.

Мост был пуст. На другом берегу в темноте пока не изученного подробно, почти не изведенного парка Маяковского растворялись фигурки прохожих. Я обрадовался и прокричал:

– Эй ты, космос!

Мне казалось, что и он посмотрел на меня и обрадовался. Это было естественно, праздник же. Я ощутил спокойное

ликование оттого, что я, оказывается, – в нем, и мне в нем не страшно, а радостно. Он как бы и снаружи, и внутри меня. Он приветливый, добрый. Он мой. Захотелось ему и себе сделать что-то хорошее, что-нибудь подарить. Тут же выдумалась семерка.

Идея нарисовать большущую цифру «семь» прямо на речном льду, чтоб она была хорошо видна и с моста, и из космоса, показалась мне великолепной. Лед же был очень ровный, как белый лист. Рисовать начал широкой фанерной лопатой, которой соседские мужики прихлопывали горку, сбрасывали снег с крыши и в сильные снегопады делали красивые тропинки во дворе. Так же, как и дядьки, двигал ее впереди себя, сваливая набок набравшийся снег, и снова ликовал, теперь уже от получающихся идеальных линий, почти сложившихся в гигантскую цифру.

Под тонким слоем снега был такой же тонкий серый лед. Когда я останавливался, чтобы развернуться, обдумывая композицию рисунка, лед похрустывал и прогибался. В валенках прохладно хлюпала неизвестно откуда взявшаяся вода, а края недавно идеальных линий разъедали темные водяные пятна. Только что нарисованная семерка тонула! С моста в мою сторону что-то кричали, но крики прохожих глушил отвратительный ледяной хруст. Его-то я и испугался. Ни мокрых валенок, ни увеличивающейся лужи, в которой я все это время стоял, а именно рычания реки на меня, бестолкового.

Сбежать из центра речки оказалось просто, помогла лопата и способ ее применения, подсмотренный у дворовых мужиков. На берегу меня встречал еще один испуг и сразу радость от троих парней, по виду старшеклассников, таких же длинных дядек, как и тот моряк на фантике моей конфеты. Гулливеры и не думали ругаться, они захохотали, необидно пошутили, чуть ли не за шиворот поволокли меня домой. Ругалась мама. Как обычно, сдержанно и мягко. Ей же никто не рассказал, где, как и почему можно промочить ноги в двадцатиградусный мороз. Сам я молчал, как партизан. Сидел, укутанный периной в своем сугробе, шевелил отогретыми пальцами ног в колючих шерстяных носках и, поперек недавних планов, уплетал конфету «Гулливер».

Почти засыпая, упорно вглядываясь в комнатную темноту, я вдруг припомнил, как на мгновение оглянулся, выбравшись на берег. Да, моя прекрасная семерка утонула целиком. На ее месте образовалось круглое пятно зеркально-черной воды, в которой отразились звезды и луна. Вода, оказывается, тоже бывает темной, она тоже часть космоса.

Эх ты, космос!

# Кулемы

Ехать в товарном вагоне нежарко даже в самый знойный день. В товарном ехать даже лучше, чем в плацкартном. Это конечно же если сначала правильно раздвинуть высокие дощатые двери с обеих сторон, и если вагон пустой, и если ехать лежа на полу, и если поезд не плетется, как черепаха, часами пропуская на всех полустанках встречные воинские эшелоны.

Как только Маша обрадовалась прохладному ветерку, поезд и остановился. Никаких станций и разъездов рядом не было, вокруг цвели луга, стрекотали кузнечики, гудели мухи, пчелы и жуки. В вагонные двери потек солнечный жар, вновь разогревая только-только охладившееся сено на полу.

«Вечно все не так, как надо», – тихо подумала Маша и зевнула.

На сене, чтобы оно не колосось соломой, у нижнего края двери, лежали телогрейка и платок, а на них – не шибко-то расстроенное лицо юной путешественницы. Зной ведь пока не донимал, дышалось легко. Да и двери для тени можно было не задвигать, вагон остановился удачно, солнце висело прямо над ним. Вытянешь руку – вот оно, солнышко, на ладошке, за спину спрячешь – и нет его, тень.

Из-за края вагона выплыл огромный арбуз. Почти уже дремавшая девчонка не сразу разобралась, сон это или явь.

В реальность ее вернул звонкий крик знакомого голоса:

– Ну, ты соня! Ну, ты спать! Чего ты смотришь? Помогай давай уже!

Из-под арбуза торчала ликующая рожица подружки Машни.

– Ты где его взяла?

– Тебе какая разница? Принимай давай!

Маша помогла загрузить тяжеленный полосатый шар, напоминающий школьный глобус, откатила его подальше от дверей, в угол вагона, а потом протянула руку помощи карабкающейся Маньке. Как только та забралась, скрежетнули колеса, и поезд тронулся.

– Ты же могла отстать!

– А вот и не отстала!

Девочки очень походили друг на друга. Обе худенькие, обе с тонкими косичками, обе остроносые, обе в одинаковых ситцевых сарафанах. За эти сизые сарафаны уличные мальчишки их дразнили инкубаторскими или детдомовскими, но они не обижались, поскольку на самом деле жили в настоящем детском доме и, совершенно не смущаясь, называли себя детдомовками.

– А Гитлер какой? – спросила Маша, уютно укладываясь рядом с Маней.

– Гадкий, худой, противный... Волосы у него невымытые всегда... – перекрикивая стук колес, ответила Маня. – Нам же его по кинохронике на станции показывали. Помнишь?

– Нет.

– Кулема.

– Сама ты кулема.

– Орет как дурак. И усы у него квадратные.

– Сволочь какая...

– Гадина, да...

– Ты вот зачем арбуз притарабанила? Скиснет на солнце-то...

– Ничо не скиснет. Слупасим, как миленькие.

– Уссымся же! Савич говорила, станций не будет до ночи. – Ничо не уссымся. Чо ты? Остановимся еще сто раз.

Обеда же тоже не будет, вагон со столовкой бомбанули вчера. А мы им и наобедаемся.

– Вагоном? – рассмеялась Маша.

– Арбузом.

– Фу, он же теплый будет.

– Вагон? – теперь уже смеялась Маня.

– Арбуз!

– Он и был теплый. Они всегда теплыми растут. Их уже потом, когда сорвут, на леднике охлаждают, чтобы жажду людям утоляли.

Слишком жарким получился конец лета в сорок первом году, они ехали уже почти неделю, а дождика так и не было ни одного. В некоторых водокачках на станциях даже вся вода высохла. Зато урожайным выдался тот год: арбузы, дыни, виноград, помидоры, яблоки, другие овощи и фрукты дев-

чонки видели каждый день.

– Ух! Гляди! Лен цветет!

– И чо?

– Красиво.

До самого горизонта, встык безоблачному синему небу, со всех сторон плескалось огромное море светло-синих цветов.

– Да... Лен-конопель... Синее такое все. А это разве лен?

Я думала, он коричневый, – задумчиво спросила Маня.

– Дурочка. Он потом коричневый, когда из него веревки делают и тряпки. А когда цветет – он синий-синий очень, как незабудки. Видишь?

– Дай шаркунок!

– Не-а... – Маша крепко сцепила кулачком ворот сарафана, под которым на суровой, видимо пеньковой, нитке болтался невзрачный берестяной шаркунок, будто подружка собиралась отнять его силой.

– Ну дай... Я же отдам потом...

– Ты мне тогда два дня не отдавала. От самого Николаева... И в тупике когда стояли... Не дам, не проси.

– Жадина-говядина, пустая шоколадина!

– Ну и пусть! Зато у меня мой шаркуночек есть!

– Жмотина!

– Ну и пусть! Ты же тогда как-то не так обзывалась?

– Буржуйка?

– Нет.

– Жадница?

– Да! – смеялась Маша. – Жадница... Получается: и жадная, и задница...

– Не дашь – я с тобой вообще разговаривать не буду до вечера. Дай!

– Маня, не попрошайничай, пожалуйста. Он же мой. Он же только у меня должен быть. Я же его нашла.

– Я его нашла! Я первая увидела.

– А подняла его я! Значит – мой!

– И мой! Я же не насовсем, на денек только. Желание загадаю, и все. Дай?!

– Пионерка, а в сказки веришь. Не дам.

– Всем расскажу, что ты хоть тоже пионерка, а сама у боженьки просишь!

– Не прошу, а загадываю! Не у боженьки, а у шаркунка!

– А он взаправду желания исполняет?..

– Смотри, уж сколько едем, а лен все не кончается. Синий-синий, как море.

– Ага... Синий-синий, как небо... Красиво... Хорошо...

Не жарко...

– А вон там журавли летят, смотри!

– Да, опять снова летят. Какие-то они маленькие. Может быть, это утки?

– Нет, журавли!

– Утки!

– Журавли. Только они далеко.

Девочки надолго замолчали. Просто ехали, слушали рит-

мичные колесные стуки и гудки паровоза, тарасились на поля, редкие перелески и высокое синее небо.

– Да... – напевно выговорила Маня. – А наши парни, дураки, все на фронт убежали.

– Как это?

– Так это! Еще утром на станции. Спать надо меньше. Савич как сирена орала, а чо орать-то? Все! Тю-тю! Догонять их не стали. Телеграммы на прошлые станции пульнули с приметами по списку, и все. Вояки! Твой Пашечка их подзудил, наверное. Вертля! Сели на встречный товарняк и укатили. Даже все средние отряды тоже. Пашка их подговорил. Блоха на гребешке! Теперь у нас из-за него целый эшелон малышни и баб. Приедем на Урал, нам скажут: «Давайте делайте гранаты», а мы скажем: «Мы не можем, у нас парни на фронте, а малышня обсерлась».

Маша поднялась, одернулась и села на коленки.

– А... как же?..

– Так же!

– И Паша убежал?

– Тетеря сонная. Я думала, ты знаешь...

– Мы же звезду смотреть хотели ночью.

– Теперь вдвоем посмотрим. Что ее смотреть? Она уже три дня за нами едет.

– Мы же загадали, если она отстанет, значит, мы уже приехали в новую жизнь.

– Так это же Полярная звезда. Не знаешь ничего по гео-

графии! На Украине ее не было. А тут она везде висит. Вот ночью поглядишь, она опять поедет рядом с нами. Понимаешь? Мы, получается, уже приехали! А он давным-давно в другую сторону поехал. Назад, где нет звезды... Обратно...

Маша плюхнулась на сено и прошептала сквозь слезы:

– Его убьют!

– Маш, ты чо, влюбилась, – приподнялась над нею Маня, – ты влюбилась, бедная? Да ты не волнуйся, может, он героем станет. Война-то скоро кончится. А он поймает Гитлера. А мы ему гранат наделаем на «Уралмаше». Мы же без парней гранаты сможем делать? Правда? Да?

– Убьют его! Убьют...

– Маша, что ты говоришь? Кому он нужен, твой этот Пашка-вошка? Из-за него, что ли, немцы на нас войной напали? А на фронте кормят хорошо, каждому дают две банки тушенки в день! Сколько можно порченными помидорами, грушами и арбузами пробавляться по овощным вагонам? Хоть мяса парень поест досыта. Еще и Гитлера убьет. К Новому году приедет в орденах и медалях. Не реви ты, глупая! Все же хорошо! Наше дело правое, победа будет за нами!

Маша перестала плакать, села рядом.

– Хорошо... Ты сама придумала его вошкой дразнить?

– Я придумала! Сама!

– Смешно.

– Вернется, вместе посмеемся... Не реви...

– Хорошо, что мы с тобой! Давай всегда вместе будем.

– Будем-будем! Мы и так всегда вместе были. Ты вот помнишь, где нас поймали?

– На рынке... под прилавком...

– А город помнишь?

– Нет. Башню помню и собак.

– Ну, собак я тоже помню, с ними в обнимку спать тепло. Давай, когда вырастем, собак себе заведем больших? Пойдем на улицу и подберем себе пару бродячих псов, на наших тех похожих. Возьмем?

– Возьмем. А мы еще не выросли?

– Нет. Надо в комсомол вступить сначала.

– Смотри, а лен все не кончается...

– Ты не отвлекайся. Надо же знать, откуда мы взялись. Я, кроме шаркунка, вообще ничего толком не помню.

Базар, башня, собаки, шаркунок...

– Там еще трамваи были. Много трамваев...

– Точно! Значит, город был большой! Киев? Одесса?

– Да не похоже. Холодно там было. Помнишь, нас привезли к детдому, будто кукол завернутых? Помнишь? В больших и длинных полушубках. Таких зипунов на Украине осенью не бывает. Может, мы из Москвы?..

– Эх, Машка, Машка, беспризорная ты моя душа!

– Маняшка, Маняшка, подружайка ты моя сердечная!

Потом они опять просто ехали, устроившись на самом краешке вагона, свесив ноги вниз, просто молчали и смотрели на алый закат. Маша, уткнувшись в плечо подруги, тихо

плакала.

– Не плачь, Машка. Подождать немного надо. Вернется твой живчик. Мы же девочки. Дождемся, пока мальчишки гадов победят, все опять хорошо потом будет. Костры будем делать, песни петь. Смотри, какие здесь вечера быстрые. Раз – и темно. Вот она и звезда твоя, как миленькая. Солнышко еще не закатилось толком, а уже и луна, и звезды!

– Где это?

– Гляди, плакса!

– Ой! Маруся, глянь! Вот же она опять!

– Я же тебе говорила. Так и приедем мы с ней. Почти приехали.

– Скорей бы уже. Буду ждать. Я дождусь.

– Подожди. Уже скоро. Видишь, льна снова не видно, коричневый опять уже.

– Это потемки потому что. Так-то он синий.

– Синий... Да... Дай шаркунок! – лукаво усмехнулась Маша.

– Ты что? Не поняла? Не дам!!!

– Тогда я завтра с тобой не буду разговаривать! Бойкот тебе будет!

– Ну и не разговаривай.

– Ну и не буду!

– Ну и не надо!

– Жадница!

– Передница!

Будто подслушав их разговор, поезд замедлил ход, зашипел и остановился на темном полустанке.

– Я тогда сейчас к малявкам ночевать пойду, а ты тут сама свои звезды считай! И не забудь двери на ночь задвинуть, а то опять выстудит весь вагон.

– Не уходи, Маня!

– Люби меня, как я тебя, и будем верными друзьями! Завтра – молчок! Кошка сдохла, хвост облез, кто слово скажет, тот и съест! Я с тобой, Машка, не разговариваю!

Она ловко прыгнула на землю и побежала в темноту вдоль состава назад.

В первое утро сорок пятого года заводское общежитие укладывалось спать. Однако кое-кто в мужском блоке, особо непоседливый, все еще старался праздновать. Из-за стены время от времени долетали звуки патефона или гармони, иногда слышалась тихая песня под гитару и мандолину.

Уже три с лишним года подружки так и жили в этой комнате на двенадцать коек. Вот как приехали с вокзала, как заняли две кровати у окна, так и не расставались. Всю войну, получается, они были все время вместе: на работе в одной смене, в школе, на танцах, в кино, на дежурствах в больнице у малышей и в одной колонне на всех демонстрациях.

– Танцуют... – пробурчала Маша, отодвинув стакан с недопитым чаем и утирая пот полотенцем.

– Пляшут, да... Пойдем к ним? – предложила Маня, при-

саживаясь к столу.

– Ты иди, я тут побуду. Лихо мне...

– Заболела же! Валенки не надела, вот и снемогла ты, хвороба! Сейчас-то хоть ноги погрей. Поотмечала Новый год, кулемушка. «Некрасиво-некрасиво»... Двадцать градусов мороза на дворе, снега по колено, а мы до клуба премся в туфельках-чулочках.

– Я же в ботиках ходила.

– А хорошо мы добежали, да? Парни с тарного цеха хорошие! Провожать назад пошли. Только ноги у них у всех короткие. Тут они у всех короткие, некрасивых много тут живет. Я у них «Казбеком» дзобнула два раза. А на горке я чуть не убилась! А у тебя рейтузы было видно!

– Да?

– Да никто и не заметил, все снежки бросали. Много тут у них снега.

Маша положила подбородок на ладони, подробно разглядела диковинные снежные узоры на оконном стекле и, не отрывая взгляда от окна, медленно произнесла:

– Да, снега здесь много. Такой красивый, как алмазы сверкает под луной. Все дома, все крыши в белых шапках, черного ничего нет, только светлое небо высокое. И тихо-тихо. Все блестит, как серебро...

– А я не видела алмазов никогда.

– И я не видела.

– А говоришь.

– Алмазы тихие, как серебро... и белые, как серебро... серебро...

– У-у... – всполошилась Маруся. – Что-то совсем ты разнедужилась и заговариваешься, подруга. Горишь ты, Машка! Красная вся! Ой! От простуды малярии не бывает?

– Нет, не бывает. Она от комаров малярийных бывает летом, а сейчас зима, комаров нет. И наших малышей ни одного уже нет, все умерли тихонечко. Комарики маленьких деток укусили. Война. Все поумирали...

– Чо ты нюнишься опять? Маленькие и без войны мерли всегда. Это они от малярии. Мы вот к ним ходили. Может, заразились?

– Нет, это от мокриц.

– Каких мокриц?

– А я вчера дежурила по кухне, Савич щи готовила, я и поела миску.

– Ну и что такого?

– Савич слепая стала. Думала, что мелкий лук, а это мокрицы были, истопник насобирали в кастрюльку. Она взяла да и сварила их. А я поела.

– Фу.

– Да... Фу... Они сейчас во мне шевелятся.

– Фу ты, Машка! Что городишь? Как им шевелиться, когда они вареные?

– Не знаю, Маня. Но они меня жрут.

– Совсем плохая стала! Завираешься совсем. Сейчас я ук-

сус принесу, компресс поделаем, чтоб жара не было. Сиди, молчи, – скомандовала Маня, выскакивая за дверь.

Пока подруга бегала по соседним комнатам, Маша сняла с печки теплые носки, валенки, кое-как надела их и плюхнулась в постель. Прошла-то от стола до койки, а устала, будто смену отстояла.

– Не надо, Маня... – попыталась она сбросить остро пахнущий уксусом многослойный пирог из ваты и марли со своего лба.

– Надо-надо. Терпи! – удержала ее за руки Маня.

– Вот и будет тебе шаркунок, – послышалось через минуту из-под компресса.

– Наконец-то... сподобилась...

– Когда помру.

– Так. Значит, опять не сейчас?

– Нет.

– Вот ведь до чего упрямая корова! Дай!

– Не дам.

– Так вот ты всегда во всем! Гордая очень! Так и проупрямишься всю жизнь. Сережка-то, очкарик, какие хорооводы вокруг тебя выплясывал сегодня. Употелся парень. Любит, видно. А ты ни разу с ним не поплясала. Не нравится?

– Нет.

– Совсем-совсем?

– Ну, так...

– А почему?

– Не знаю.

– А я знаю!

– Почему?

– Дашь шаркунок, скажу!

– Ну и не говори!

– Ну ладно, так скажу! Это потому, что он не убежал с парнями. Да? Все-все рванули, он один остался. Да? Ты его за это и не любишь. Правда?

– Не знаю я, – задумчиво пробормотала Маша.

– Не любишь, я же вижу хорошо. А он симпатный, в комсомол вступил уже. Я его, наверное, люблю.

– Если «наверное», то не любишь. Любят не наверно, а наверняка.

– Я, может быть, наверняка? Откуда ты знаешь?

– Не любишь.

– Это почему это?

– Потому что «может быть». Не настоящее это у тебя. Просто потому что надо и хочется. А настоящего дожидаться надо.

– Гадина ты, Маша! Я с тобой, как с человеком, а ты со мною, как свинья!

– Не обижайся ты, сама же начала.

– Гнида!

– Маруся, не ругайся.

– Гнида и есть.

– Маруся...

Не на шутку раззадорившись, Маня бегала между кроватями, размахивала руками, часто грозила пальчиком в сторону сидящей в постели подруги, словно решаясь на что-то. Наконец она выпалила:

– Я тогда тебе за это сейчас такое расскажу! Будешь знать! Не дожدهшься ты своего настоящего! Умер давно твой настоящий! Всё!

– Пашка?

– Вошка! Конечно, Пашка, кто еще? Не жди ты его. Не доехали они до фронта, все сгорели. Савич рассказала. Разбомбили товарняк прямо на станции, а в нем снаряды были. Вот они и сгорели. Все! Это, когда мы уже сюда приехали.

– И Паша?

– И Паша! Все.

В комнате повисла оглушающая тишина. Неожиданно побелевшая Маша убрала компресс на тумбочку, опустила руки к полу, сползла с кровати и свернулась на полу калачиком, уткнув лицо в коленки. Так делают собаки, ночуя на снегу. Маня попробовала что-то сказать, подойти к ней, но не сразу решилась. Потом все-таки приблизилась, подхватила под руки, уложила в постель.

– Паша сгорел! – пролепетала Маша.

– Я знаю.

– Почему?

– Война, – уверенно сказала Маня, накладывая компресс.

– А почему война? А почему Паша?

– Гадина Гитлер так захотел. Забоялся, что Пашка его убьет.

– Не в этом дело, Маняшка. Такое время в мире – война. Иногда все очень запутывается, и люди воюют.

– Чтобы распутать мир?

– Да, чтобы исправить мир войной. Чистят они его, уничтожают гадин и снова живут себе в ясном мире.

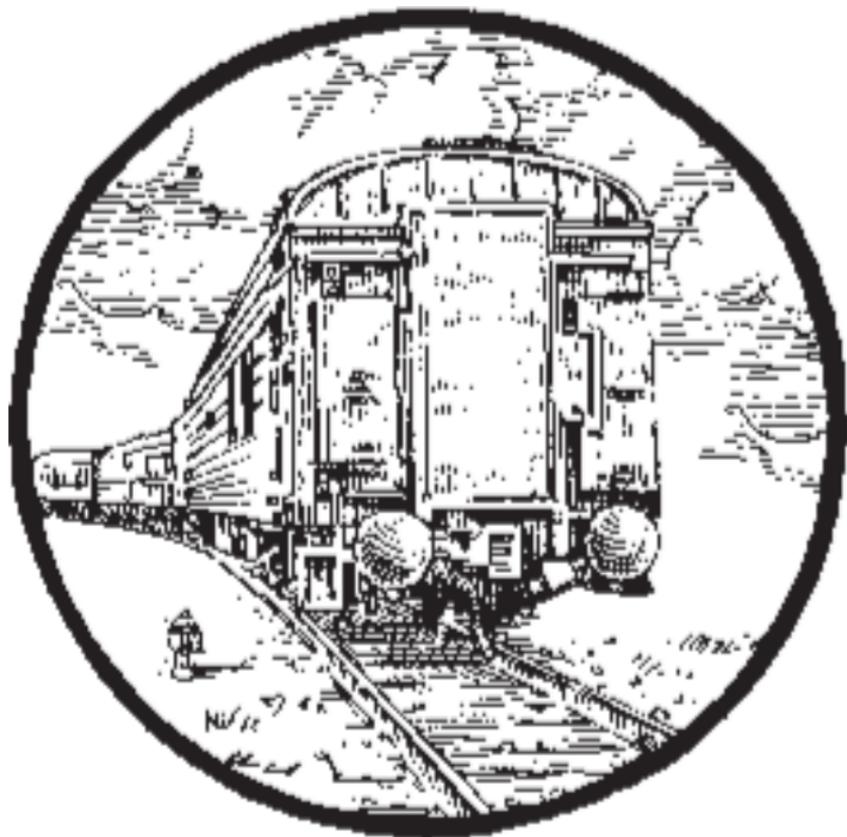
– Так Паша Гитлера и не убил. Жалко, не успел стать героем.

– Успел. Он уже был герой, когда поехал. Ох... Но его же уже нет...

– Нет.

– А кого мне ждать?

Рядом с ними, за стенкой, вновь заиграл патефон, звучало что-то танцевальное, модное, громкое, а в ответ ему откуда-то очень-очень издалека запела тихая мандолина.



# Анна Смерчек

## Счастье из семи букв

Пришел бы сейчас кто-нибудь и спросил:

– Как ты, Маш?

И она бы ответила:

– Мне скучно.

Потому и устроилась подрабатывать в магазин настольных игр. Думала, вот уж тут будет весело. Не хотела весь август проскучать дома. А так подумала, что и денег немного зарабатывает, и развлечется. Оказалось, ничего веселого. Покупателей почти не было, зря только в первые дни читала правила из всех этих ярких коробок на стеллажах. Думала: как же, люди придут, надо будет что-то посоветовать, объяснить. Но почти все коробки так и оставались просто коробками, никто на их содержимое не покушался, даже не спрашивал. Вот и сегодня купили только простенькое детское лото и игральные кубики.

Маша покрутила колесико на музыкальном центре, сделала погромче, прошла по торговому залу до двери. Развернулась на носочках, так, чтобы юбка красиво крутанулась, легла живописной складкой вокруг ног. А чего там, все равно никто не видит, хоть пляши тут.

Потом опять пришли эти подростки. Игорь Петрович прав был с самого начала: не приваживай, говорил, это не покупатели. А она уперлась: нет, как же, они ведь должны сначала посмотреть, попробовать, иначе не купят. И вообще, пусть лучше уж тут потусуются немного, чем по улицам болтаться, правда ведь? Игорь Петрович только скептически губы кривил и хмурился:

– Смотри, чтобы ничего не сперли.

Вышло почти так, как он сказал. Спереть, правда, вроде ничего не пытались, а приходили стали чуть ли не каждый день, но только для того, чтобы время провести и поболтать. И ничего не покупали. Один толк с них был: можно за мороженым отправить. А сегодня и мороженого не хотелось. И болтать с ними не хотелось, а они – трое парнишек – рот не закрывали ни на минуту. И пусть бы между собой болтали, так нет, все им хотелось и у Маши что-то узнать.

– А вы видели фильм «Джуманджи»?

– А у вас есть такая игра?

– Чтобы по-настоящему звери оживали и ходили по улицам? – вспомнила Маша. – Что-то не припомню, чтобы у нас такая была.

– А вы бы побоялись в такую играть?

– А у вас какая любимая игра?

– А вот в эту всколькером нужно играть?

– Вот когда купите, достанете правила и прочтете, – отрезала Маша.

– А это ведь тоже игра, да? – Один из мальчишек, отмахивая со лба отросшую челку, ткнул пальцем в темное пластиковое поле, разбитое на мелкие клетки. Посредине из фишек-квадратиков было выложено слово «скидка».

– Это «Скрэббл», ты что, не знаешь? – подтолкнул его сзади другой парнишка.

– А написано «Эрудит», – заметил третий.

– Это одно и то же, – отмахнулась Маша. Могла бы и больше рассказать, отличия-то были и в количестве фишек, и в том, как очки считают. Но что распинаться, все равно ведь не купят ничего.

– А почему она отдельно лежит тут? – снова спросил первый парнишка. Вот привязался. Потому что Игорь Петрович придумал из букв выкладывать всякие надписи для покупателей. На прошлой неделе было «добро пожаловать», потом три дня продержалось «играйте с нами». Теперь вот «скидка».

– Потому что это волшебная игра, – ляпнула зачем-то Маша. Подростки оживились, сбились в кучку над пластиковым полем с цветными клеточками.

– Почему?

– А как это?

– Да ладно!

– А вот и не «да ладно»! – уперлась Маша. – Это как желание загадать. Выкладываете какое-нибудь слово, а потом так и получается, как написано. Видите, здесь слово «скид-

ка»? И, между прочим, так и есть! Игра продается со скидкой 10 %. Возьмете?

– А на «Мафию» тоже скидка? – не повелись на маркетинговый ход подростки.

– А на «Мафию» – нет, – вздохнула Маша.

– Ну, тогда мы пойдем.

И ушли. Пока болтались по магазину – надоедали, мешали, докучали глупыми бессмысленными вопросами. Но вот ушли – и снова стало скучно. Маша опять прошла по залу, поправила стопки коробок и коробочек. Вернулась на свое место. Покрутила на стеклянном прилавке перед собой пластиковое клетчатое поле со словом «скидка», вздохнула, достала остальные фишки-буквы. Не глядя – как полагается по правилам игры – взяла семь пластиковых квадратиков. Задумалась ненадолго. Под буквой *с* выложила *а* и *д*. Получилось *сад*. Еще подумала. Над буквой *к* добавила *о* и *с*. Получилось *сок*. Подняла глаза и увидела, как за окном в витрине магазина напротив две девушки в форменных передничках крепят на стекло плакат с рекламным взрывом сочных фотографических фруктов. «Скидка на соки “Наш сад” 10 %», – прочитала Маша. Опустила глаза на составленные из пластиковых квадратиков словечки. *Скидка, сок, сад*. И правда, как по волшебству.

А что, стала размышлять Маша – не на полном серьезе, конечно, а просто так, от скуки, – вот если эта игра и правда, скажем, была бы волшебная. Выкладываешь слово и по-

лучаешь это самое в реальной жизни. И что бы тогда я загадала? – стала прикидывать она. Чего бы мне хотелось?

Вчера вот хотела купить платье. То, синее. И купила бы обязательно, да только не было нужного размера. На Машин размер было только белое. А куда ей белое? Белые вещи она никогда не любила. С ее-то способностью вечно что-нибудь на себя опрокинуть или прислониться где погрязнее. Маша стала выбирать из коробки буквы, чтобы сложить на доске «синее платье». И уже даже выложила *син...* но потом сама себя одернула. Как-то мелковато. Вот если допустить – не всерьез, конечно, так, понарошку – позволить себе пофантазировать просто о том, что эта игра действительно волшебная. И то, что она загадает, непременно сбудется. Как с соками «Наш сад» только что. Даже если один крошечный шанс допустить, что это действительно так, неужели можно этот шанс упустить?

Маша попыталась представить себе, как бы ей хотелось жить в будущем. В светлом далеком будущем, когда все в ее жизни сбудется. Муж какой-то будет. Что значит какой-то? Любимый, конечно! Так, муж любимый. Ребенок. А жить, наверное, будут в какой-нибудь новой квартире. О квартире почему-то думать было сложнее всего. Почему-то представлялись не комнаты с кухней, а прогулка в парке или пикник. Ладно, не важно. Короче, семейное счастье. Так что начать нужно с того, чтобы встретить хорошего человека. Это какое же слово нужно волшебным образом сложить? Мужчи-

на? Нет, лучше молодой человек. Или нет, лучше встреча. Нет, глупости, мало ли какая встреча. А, ну конечно, что же вокруг да около ходить, придумала Маша.

Выбрала из коробки шесть букв, выложила на цветных клетках *любовь*. И вдруг смутилась, а потом разволновалась. А что, если правда, если вот прямо сейчас дверь откроется, и войдет *он*. И с первого взгляда, и на всю жизнь... Маша посмотрела на дверь, выглянула даже в окно. Там шагали летние пешеходы, рассеянные и озабоченные, налегке и с сумками, парами и по одному, но все мимо.

Дверь за спиной открылась, тренькнул над косяком колокольчик, екнуло Машино сердце. Обернулась. Это был мужчина, но совсем не такой, как надо. Во-первых, в годах уже, полтинник точно. Лысый, с пузиком, одет, правда, очень прилично.

«Этот, что ли?» – недоверчиво присмотрелась Маша. А мужчина оглядел стеллажи, сразу, видимо, отказался от идеи искать самостоятельно, рассеянно нащупал взглядом застывшую за прилавком Машу.

– Девушка, подскажите...

«И голос какой-то неприятный», – с тоской подумала она.

– Мне бы, знаете, колоду карт. Только, чтобы хорошие были.

Маша засуетилась, метнула на прилавок одни, другие. Покупатель голову склонил, посветил ей в лицо лысиной.

«Может, скрытые какие достоинства...» – прикидывала в

уме Маша, исподтишка разглядывая клиента.

– А вот вы какие бы выбрали? – спросил вдруг мужчина.

– Я? – пискнула Маша и про себя решила: «Ну вот, началось!»

А мужчина вдруг улыбнулся смущенно и рассказал:

– Я, знаете, к картам равнодушен. Это для жены. Она целыми днями над ними сидит. Пасьянсы там всякие. А сам-то я в этом не разбираюсь. Просто шел мимо, смотрю, тут ваша вывеска. Игры. Ну, думаю, зайду вот, порадую ее...

– Возьмите вот эти, – посоветовала Маша. – Подарочный вариант, красивое оформление.

Мужчина расплатился, в раскрытом бумажнике мелькнула фотография женщины: безмятежная улыбка, светлые волосы. Снова звякнул колокольчик над входом. Дверь за ним закрылась, а Маша опустила глаза, увидела прямо перед собой на прилавке загаданное только что. Любовь. Ну да, вот у него, у лысого мужика, наверное, есть любовь, жену любит. Ну и пусть себе любит.

«Вот дура-то! – спохватилась Маша. – От скуки совсем мозги расслабила, надо же было поверить в то, что это волшебная игра. Ага, щас, разбежалась. Вон очередь из принцев выстроилась под окном».

Разозлилась на себя, но разбирать пластиковое словечко не стала, пожалела свою мечту, просто убрала с прилавка, переставила на подоконник. Еще бы из головы теперь эту дурацкую игру выкинуть. Пока ехала домой, было чувство, что

все вокруг просто сговорились. В метро на эскалаторе навстречу плыли только парочки. Маша решила не смотреть на них, стала изучать рекламные плакаты. «Новое грандиозное шоу «Загадай любовь»! Билеты во всех кассах города!» Реклама жвачки – снова с поцелуями. Новый жилой комплекс – и тут опять кто-то подсмотрел ее мечту: папа, мама и ребенок гуляют в парке, а где-то за деревьями маячит их условная новостройка. Волшебная игра или не волшебная, решила про себя Маша, но завтра надо это загаданное слово разобрать.

На следующее утро Маша настроилась быть спокойной и трезвомыслящей, а то вчера разнервничалась, как маленькая. Как будто верит еще в Деда Мороза и ждет его подарков под елкой. В магазине не побежала первым делом разбить заветное слово, сначала промахнула пол влажной тряпкой, налила себе чашку кофе в подсобке, включила музыку. И только потом стряхнула вчерашнюю свою *любовь* в коробку, где она рассыпалась на пластиковые квадратики, перемешалась с сотней других букв, потеряла всякий смысл.

Убирать игру на полку Маша все-таки не стала. Это ведь не она придумала, это была идея директора магазина, Игоря Петровича, чтобы на прилавке какое-нибудь слово красовалось, выложенное в стиле игры «Эрудит». Сложить, что ли, опять эту его скучную *скидку*? А смысл? В игре и цифры-то не предусмотрены. Может, что-нибудь другое написать? Маша с новым словом не торопилась, прошла по тор-

говому залу, подровняла коробки, пыль стряхнула. Остановилась перед застекленной витринкой с дорогими, подарочными вариантами игр. Поразглядывала точеные шахматные фигурки, а потом поймала случайно собственное отражение в зеркальной задней стенке. Поправила волосы. Потом вдруг заметила пятнышко на футболке. Да что же это такое, умудрилась-таки с утра уже заляпаться! Обратила вдруг внимание, что и юбка сидит на ней как-то не очень. Тоже мне, любовь ей подавай. Кто ж тебя такую, в старой юбке, полюбит? Ума бы лучше себе загадала. Или красоты. А лучше бы денег.

«Жалко все-таки, что чудес не бывает», – подумала Маша и вернулась за прилавок. «Эрудит» все еще лежал там. От нечего делать она снова выбрала не глядя, на удачу семь букв. Прикинула, что можно сложить из этого случайного набора. Вот если бы был мягкий знак, получилось бы слово *день*. А добавить букву *г*, и тогда как раз сложилось бы *деньги*.

«Да ладно, я ведь сама с собой играю, никого не обманываю!» – решила Маша и выбрала в коробке с фишками две недостающие буквы. Сложила на доске *деньги*. Только последнюю букву на клеточку положила, зазвонил телефон.

– Маша, ты там не с покупателями?

– Нет, Игорь Петрович, нет никого.

– Ну, я предупреждал: август – глухой месяц. В кассе там сколько у нас?

Маша глянула, отчиталась.

– Плохо, – вздохнул Игорь Петрович, – но я все равно заеду через часок, мне завтра плату за аренду вносить. Заодно за эту неделю заплачу тебе.

– Спасибо. – Она тоже вздохнула в ответ. «Вот тебе, Маша, и деньги. А ведь и правда, все сбывается, рассеянно подумала она. И на любовь вчера посмотрела. И сегодня вот о деньгах сразу речь зашла. Правда, не о таких, конечно, деньгах мечталось. Хотелось-то сразу много. Так много, чтобы забыть о них совсем и никогда больше не спрашивать «сколько стоит». Чтобы если нравится – покупать не думая. Чтобы рвануть куда-нибудь, в прекрасные какие-нибудь страны, чтобы если и работать, то только по высокому призванию, чтобы никакой рутины».

Машины мечты прервал сначала покупатель (купил маленькие дорожные шашки на магнитной досочке), а потом Игорь Петрович. Директор почти всю кассу выгреб, одну мелочь оставил. Так что Маша еще полдня потом переживала, что, когда придут покупатели, сдачу людям давать будет нечем. Вот и получается, что, как загадала, так и было: все какие-то денежные хлопоты.

А еще, как ни крути, получалось, что написанное на эрудитном поле слово пусть криво-косо, но просачивалось в жизнь, начинало закручивать повседневность по своим правилам. «И что же это за правила такие, – размышляла Маша, поглядывая то в окно, то на аккуратную пластиковую коро-

бочку с волшебной игрой. – Как она, спрашивается, могла бы выразить, что денег, например, она имела в виду много и для себя одной. А любовь – тоже чтобы у нее, а не у лысого дядьки с женой-картежницей». От нечего делать Маша заглянула даже в правила игры – они, как положено, прилагались на отдельной бумажке-вкладыше.

«Каждый игрок берет не глядя по семь фишек». Так, дальше. «Разрешается использовать любые слова, за исключением сокращений и слов, которые пишутся с прописных букв и через дефис», – слепым мелким шрифтом сообщила бумажка.

Значит, только отдельные слова, предложения нельзя, да и знаков препинания нет. Можно несколько слов составить, прикидывала Маша. Например: *миллион, рубль, мой, кошелек*. Или: *замужество, любовь, Маша*. А, нет, *Маша* нельзя, это с большой буквы. Да и поди еще сложи так, чтобы одно слово с другим пересекалось, одно из другого выросло, как по правилам полагается, – тоже ведь непросто, даже если буквы не вслепую выбирать, а подсматривать.

И так вдруг у Маши все внутри зачесалось от обиды и нетерпения, что прямо хоть по стенкам бегай. Это ведь получается, что если как-то так хитро извернуться, подобрать те самые единственно правильные слова и составить на доске грамотную комбинацию, то можно было бы все свои самые заветные и несбыточные желания воплотить. И, в общем-то, они, эти мечты, у Маши самые обыкновенные, можно ска-

зять, общечеловеческие. Так что неведомому, сидящему в коробке из-под «Эрудита» сказочному джинну не пришлось бы даже ничего в земном миропорядке менять.

«Как будто заранее уже торгуюсь с кем-то, выклянчиваю свою порцию счастья непонятно у кого». – Маша рассердилась на саму себя и велела себе думать.

Но в тот день так ничего и не придумала. Только испугалась: а что, если волшебная игра может исполнить всего три желания? Тогда у нее все, лимит исчерпан. Сначала было про сок, потом про любовь, а потом про деньги. Хотя нет, Маша нашла для себя утешительную лазейку: про сок – это ведь было не желание, она тогда еще просто играла, ничего не загадывала. Так что не должно считаться. Да и вообще, подумала она к вечеру, все это могли быть просто совпадения. И никакого волшебства. Что же это за волшебство такое повседневное, обыденное – не интересно.

А на следующее утро Маша придумала, что надо написать, подобрала единственно правильное слово. Оно и так каждый раз на языке крутилось. И как только она раньше не додумалась! Приехала в магазин и от нетерпения сразу бросилась выбирать нужные буквы, даже сумку с плеча не скинула. *А, е, с, т*, еще одно *с*, потом *ь* и, наконец, *ч*. *Счастье*. Пусть будет счастье! Даже если не прямо ей, то, может, пусть будет кому-то рядом. Одному, другому, третьему. И чем больше вокруг будет счастливых людей, тем и ей – понадеялась Маша – будет лучше. Ведь счастливые люди – они,

как правило, и всех вокруг хотят видеть счастливыми. Счастливые улыбаются, говорят комплименты, делают подарки. А может, и в ее сторону сработает, может, хоть крылом заденет, хоть рикошетом достанет ее это счастье.

Потом весь день вглядывалась в лица покупателей, в походки пешеходов за окном, вслушивалась в голос из радиоприемника. Счастливы ли?

Перед закрытием заехал Игорь Петрович, привез новый товар. По-хозяйски прошелся между стеллажами, ткнул пальцем в «Эрудит»:

– Это что? Покупатели смотрели?

– Да нет, – смутилась Маша. – Это же вы сами сказали тут писать что-нибудь. Про скидки, про акции.

– А зачем написано *счастье*?

– Ну как зачем? Чтобы счастья было больше на земле, – опустил глаза, ответила Маша.

– А, ну ясно, – хмыкнул Игорь Петрович. – В кассе там что у нас?

Маша выгребла купюры и подумала: «Тоже мне, директор тут. Ничего не понимает, ничего не чувствует!»

А вслух сказала:

– Игорь Петрович, а мне, как сотруднице, скидка на игры полагается?

Игорь Петрович прищурился, оглядел ее с головы до ног и разрешил:

– Тебе скидка 15 % на любой товар.

– Спасибо! – сказала Маша. И когда он ушел, пикнула лапкой-сканером по упаковке «Эрудита», аккуратно сложила пластиковое поле и все фишки в коробку и бережно убрала в свою сумку.

После работы она зашла в магазин напротив, купила стаканчик мороженого. Вышла на улицу, огляделась. Мимо топали домой такие же, как она, пешеходы – немного уставшие, но довольные тем, что рабочий день закончился. Мягкое вечернее августовское солнце светило ласково, машины не спеша катили мимо, видимо, тоже уже переделав все свои дела. Маша зашагала к метро, локтем прижимая к себе сумку с «Эрудитом». Никогда в жизни еще, кажется, у нее не было на сердце так спокойно и радостно. «Теперь-то все сложится, – думала она с удовольствием. – Теперь, когда у меня есть такая игра, я смогу сложить все, что захочу. Только надо подумать немного, и будет и любовь, и деньги, и счастье. Уж теперь-то все в моих руках!»

# Невозможная легкость

Впервые это случилось в тот вечер, когда Людмила Михайловна вернулась из театра. Случиться такого, конечно, никак и ни при каких обстоятельствах не могло. И то, что это был декабрьский морозный вечер, и то, что Большой театр, – совершенно ничего не меняет. Хотя бы потому, что такие вещи просто невозможны.

Но, боже мой, какое это было волшебное чувство! И все-таки какая удача, редкая удача, что ей достался тот билет! Неожиданно вдруг, еще в ноябре, звонок по телефону.

– Люся, тебя!

– Да, я слушаю.

– Людмила Михайловна! Здравствуйте, это Раиса. Из института, да. Я от лица коллектива, так сказать, и по поручению, – празднично прозвенел в трубке знакомый голос. – Поздравить вас. Как с чем? С юбилеем! Да, конечно, мы знаем, что в следующем месяце. Просто мы ведь вам подарок подготовили, Людмила Михайловна! Как же не нужно? Обязательно! Конечно, помним, а как же иначе!

Вот таким образом Людмила Михайловна и получила этот билет. Да не куда-нибудь – в Большой театр! На любимый еще с детства «Щелкунчик». Через несколько дней после юбилейной даты, то есть, получается, как раз шестнадцатого декабря, оставив дома мужа Константина Палыча, подогре-

тый ужин на плите и спящего на диване пса Боньку, Людмила Михайловна отправилась в театр.

За пару дней до этого, правда, подумала, что не пойдет. Ну куда, какой театр! Одной идти совершенно не с руки. И мужа оставлять скучать дома – как-то неудобно перед ним. И как теперь в театры ходят, что надеть – непонятно. Раньше-то часто, чуть ли не каждый месяц, куда-то выбиралась: то на концерт, то на спектакль. Это только в последнее время все больше дома. Но потом решила: да что это я, разве не могу себе позволить? И юбилей ведь действительно отметила, отчего же не принять такой подарок от коллектива. Все-таки семьдесят лет – не шутка.

От остановки автобуса шла, поскрипывала по свежему снегу и волновалась радостно, трепетно, как в молодости. У входа заметила, что афиша заклеена по диагонали полосой с надписью: «Все билеты проданы!» – и почувствовала себя человеком другой, более высокой категории, чем те, что просто проходили мимо по своим будничным делам и не имели повода предвкушать что-то праздничное. У нее-то в сумочке лежал билет, в отдельном кармашке, застегнутом на молнию, – по дороге даже пару раз проверила, на месте ли. Потом, сдав пальто в гардероб, стоя в фойе, уже по-новогоднему украшенном еловыми ветками и изящными игрушками, оглядела себя в зеркало. Ничего, еще повоюем. В глазах огонек горит, не угасло внутри – вот что главное. Прошла в зал, еще немного волнуясь, оглядывая других театралов.

Но с первыми нотами уже и думать о себе забыла. Унеслась, околдованная, в чайковскую сказку. В антракте даже не стала выходить из зала. Поднялась только с красного мягкого сиденья, чтобы спину расправить и немного ноги размять, прошла по проходу, постояла над оркестровой ямой, разглядывая инструменты и опущенный занавес. Второй акт слушала, уже замечая нюансы, наслаждаясь без суеты, как человек, утоливший первый голод и теперь смакующий каждый новый кусочек. Однажды только кольнуло сожаление: скоро сказка закончится. А когда закончилась, аплодировала долго, до боли в ладонях.

Обратно поехала тоже на автобусе. Улыбалась блаженной улыбкой, как городская сумасшедшая. Да и наплевать, кто там что может подумать. Окрыленной Людмила Михайловна себя чувствовала и хотела это чувство подольше в себе пронести. На свой третий этаж вспорхнула по ступенькам, словно девочка.

Константин Палыч помог снять пальто, поинтересовался: – Как Петр Ильич? По-прежнему?

– Прекрасно, прекрасно! – пропела музыкальной фразой в ответ Людмила Михайловна.

– Тогда, может, чайковского? – отозвался муж явно заготовленной заранее шуткой, пошел на кухню греметь чайником. А Людмила Михайловна скинула сапоги и теплый платок и сделала по коридору пару легких балетных шажков. Ах, как это было прекрасно! Ногу прямо, носочек потянуть

вперед, шаг, еще шаг – и она оттолкнулась от пола и взлетела, проплыла на вдохе метра два и снова нежно коснулась тапочками паркета. Сморгнула, оглянулась. Одной рукой схватилась за стену, другой – за сердце. Потом руку от сердца отняла, потрогала лоб. Не горячий, даже наоборот, с мороза совсем еще холодный.

– Ну, где ты там? – позвал из кухни муж.

– Пойду переоденусь, – ответила Людмила Михайловна громким, по возможности самым обычным голосом. Пошла в комнату, тщательно отпечатывая каждый шаг на паркете. И только когда прикрыла за собой дверь, попробовала еще раз. Подалась немного вперед, потянулась вверх и осторожно оттолкнулась правой ногой от пола. И поплыла по воздуху мимо книжного стеллажа, мимо привычно застывших в раме на стене шишкинских сосен, с восторженным удивлением чувствуя, как тело наполняется неземной легкостью. Мягко опустилась на диван, выдохнула и закрыла глаза.

«Что это? Боже мой, что это? – подумала Людмила Михайловна. – Так не бывает. Но как это прекрасно!»

Вздохнула, счастливая, с тихой улыбкой на губах. Потом спохватилась, стала расстегивать блузку. Уже в халате, стараясь внятно запечатлеть на полу каждый свой шаг и даже нарочито пришаркивая, прошла в кухню. Опустилась на стул, стараясь почувствовать, как переместился в теле центр тяжести. Или центр легкости. Ладонями обхватила чашку, словно для того, чтобы удержаться. Бонька подбежал, стал тыкаться

мокрым носом в ноги.

– Ну, рассказывай, как там оно, как светская жизнь, – усаживаясь основательно, скрипя стулом, спросил Константин Палыч. И Людмила Михайловна начала рассказывать. Сначала подчеркнуто буднично: про градусы ниже нуля и ветрено ли было, и сколько прождала на остановке, и на каком автобусе поехала. Потом, увлекаясь, стала говорить о том, как красиво по-новогоднему украшены были фойе, коридоры и лестницы, во что были одеты другие театралы. Вдруг вспомнила:

– Программка! У меня же программка есть! Дай я тебе покажу!

Сделала движение встать и почувствовала, как легко оторвалась от стула, зависла в паре сантиметров над сиденьем, застыла с открытым ртом, но Константин Палыч только махнул рукой:

– Сиди, сиди. Где она, в сумке у тебя? А сумка где?

И стал выбираться из-за стола, снова скрипя стулом и тяжело опираясь на столешницу.

– В прихожей, кажется, – ответила Людмила Михайловна, тихонько возвращая себя на стул.

Константин Палыч принес сумку, она достала программку, протянула ему глянцевые странички. Он поверх очков с вежливым вниманием поразглядывал, прочел вслух фамилии дирижера и художника-постановщика. А Людмила Михайловна пустилась рассказывать дальше: как зазвучала

увертюра, как стал подниматься занавес, какие были костюмы, как смешно болтались хвосты у балетных мышей, какая елка была на сцене, как аплодировали, как выходили на поклон. И музыка, главное – музыка! Ведь она еще в детстве ее слушала и знала ноты, а потом – помнишь? – купили для детей виниловую пластинку. Хорошая была постановка. Кто же там текст читал? Где-то ведь она лежит еще, эта пластинка, не могли ведь выкинуть!

– На антресоли, наверное, убрали, – кивнул Константин Палыч и с хрустом сломал в кулаке сушку. – Чаю налить еще?

– Ну что ты опять со своим чаем? – досадливо вздохнула Людмила Михайловна. Она как будто только сейчас заметила, что уже вернулась из театрального зала и что сидит у себя на кухне. Все вдруг как-то потускнело, стянулось, стало маленьким. Людмила Михайловна почувствовала, что устала, заломило поясницу, ноги налились тяжестью.

– Ну что, спать? – снимая очки и потирая переносицу, подвел итог Константин Палыч.

– Да, наверное, – кивнула она. Досада уже прошла, и Людмила Михайловна радовалась привычным вещам вокруг, мягкому свету старой лампы, тихому тиканью часов.

– А времени-то уже, оказывается! – воскликнула она, взглянув на циферблат.

– А ты как думала, – проворчал муж, убирая со стола чашки.

На следующее утро никак не могла проснуться. Так распереживалась вчера, так разнервничалась, да и из привычного режима выбилась. Встала с кровати только когда Константин Палыч уже вывел Боньку и вернулся. И сразу закрутились какие-то дела. Сначала позвонила на бывшую работу: поблагодарить за подаренный билет, за чудесные впечатления. Телефон после этого звонка точно обрадовался, что о нем вспомнили, точно получил право голоса – стал трезвонить не переставая. Дочка позвонила. Потом пара знакомых, которые хотели поздравить с юбилеем, да забыли, пропустили дату и теперь хотели повиниться и наверстать. Потом – вообще ерунда какая-то – агент из телефонной компании долго продержал Людмилу Михайловну у аппарата, рассказывал подробно о тарифах и предлагал какие-то мегабайты.

Константин Палыч окончания переговоров не дождался, только раздраженно махнул рукой, взял сумку, пошел в магазин. Людмила Михайловна, наговорившись, принялась за готовку. После обеда смотрели сериал, который так нравился Константину Палычу. А там уже и стемнело.

Надо было вывести еще раз пса, и Людмила Михайловна вызвалась пойти. Надела извивающемуся от радости песику шлейку, пошагали вниз по лестнице. Гуляли обычно за домом, на пустырьке. Погода была отличная: лениво сыпал редкий снежок, легкий морозец пощипывал щеки и кончик носа, так что глаза сразу по-стариковски заслезились. Песик

радостно скакал по снегу, тыкался носом в пушистый белый покров, мотал лохматой головой, разбрызгивая вокруг снежные брызги. Глядя на его незамысловатое счастье, Людмила Михайловна невольно вспомнила и свой вчерашний радостный подъем, окрыленность. Недоверчиво улыбнулась – привидится же! Попыталась нащупать внутри себя это вчерашнее состояние, украдкой огляделась и решила. Сделала шаг, другой, ощутила всем телом, что да, вот оно! Оторвалась от земли и пролетела несколько шагов вперед над дорожкой. Бонька скакал рядом, не отставал.

Людмила Михайловна оглянулась, чтобы оценить преодоленное по воздуху расстояние. Заснеженную дорожку освещали только окна окрестных домов, но небо над городом здесь, кажется, никогда и не гасло, впитывая свет множества фонарей, реклам, вывесок. В этом полумраке на дорожке отчетливо были видны следы на снегу, потом они прерывались, и дальше оставались только зигзаги суетливой собачьей беготни. А человеческих следов не было, наверное, метров пять или шесть. Увидев позади себя это белое нетронутое пространство, Людмила Михайловна вдруг испугалась, поежилась сиротливо в своей старой куртке, оставленной только для гуляния с собакой. Показалось, как будто ее саму стерли из жизни, даже следа не осталось.

– Бонька, домой! – крикнула Людмила Михайловна и с неудовольствием услышала в собственном голосе нервную, высокую ноту. Развернулась и, специально приволакивая но-

ги, чтобы загрести как можно больше снега, пошла к дому.

Тоскливое настроение не отпускало весь вечер. Но сначала можно было еще не думать обо всем этом, можно было включить телевизор, заняться ужином. Соседке, в конце концов, позвонить – сколько уже можно откладывать. Но когда легла и выключила свет, тут уж тревожные мысли накатили в полном ассортименте.

Не собралась ли душа отлететь?

А что, если это старческий маразм? Галлюцинации начались?

Надо бы к врачу. Давление проверить. Может, что-то с вестибулярным аппаратом?

Косте рассказать? Да нет, не надо. Сама как-нибудь.

Невозможно.

Привиделось.

Еще часа два Людмила Михайловна ворочалась с боку на бок, пытаясь уговорить себя, что привиделось. Но если бы только привиделось, еще ведь причувствовалося. И как убедить себя, что не было этого чувства? Сладко-знакомого, словно из давнего сна, пьянящего, манящего чувства легкости.

Потом она наконец заснула и во сне снова ходила на работу, словно и сама, и весь коллектив забыли о том, что она уже десять лет как на пенсии. «Наверное, сложное задание, потому и вызвали меня, с моим опытом», – решила во сне Людмила Михайловна. А задача, и правда, была непростой: со-

ставляли проект очередной московской высотки, очень похожей на одну из семи прославленных. И вроде бы работали над проектом, но в то же время здание уже как будто и стояло где-то в городе, не совсем по-настоящему, а словно наложенный на реальность эскиз в натуральную величину. И Людмила Михайловна облетала его с разных сторон, то взмывала ввысь, к тонкому шпилью, то нарезала круги вокруг полупрозрачных стен, проверяя расположение коммуникаций и лифтовых шахт. И с гордостью думала, что вот ведь как хорошо пригодились ее новая летная способность, как это удачно помогает теперь в работе. Проснувшись бодрая, в приподнятом настроении. Полежала немного, наслаждаясь этим чувством, но потом вдруг опомнилась, схватилась руками за простыни. Нет, все-таки она не парила в воздухе, все-таки лежала, отпечатывая на постели свой вполне нормальный для такого роста и возраста вес.

«И что мне теперь с этим делать? – спросила себя Людмила Михайловна. – В цирке выступать? С аттракционом “Уникальная летающая старушка”?»

От этой мысли ей стало весело. Вообще, в утреннем свете все вчерашние ночные мысли, как это и бывает, развеялись, показались незначительными. Да и чувствовала Людмила Михайловна себя на редкость хорошо. Выпрыгнула из постели и, пока нашаривала ногами тапочки, позволила себе зависнуть в паре сантиметров над полом и даже очертить носком из такого положения завитушку на ковре. Пока гу-

ляла с Бонькой, тоже немного шалила: делала шаг и пролетала немного вперед над белым нетронутым снегом, присыпавшим за ночь все ее вчерашние следы. Дошла до конца дорожки, оглянулась: позади словно кто-то играл в гигантские шаги, так далеко один человеческий след отстоял от другого. Она развернулась и, так же легко перелетая над землей, отпечатала в промежутках дополнительный след. Снова обернулась и рассмеялась: на заснеженной дорожке теперь видны были следы человека, одна нога у которого была вывернута пяткой вперед.

Семьдесят лет – это все-таки такой возраст, когда человек с трудом впускает в свою жизнь что-то новое. Куда оно теперь, к чему? Хватает и старого, пережитого, привычного, подлежащего последнему осмыслению. Но Людмила Михайловна на удивление просто впустила в свою жизнь неожиданно открывшуюся в ней способность к полетам. Когда оставалась дома одна, то передвигалась по квартире уже исключительно перелетами: от холодильника к столу, от стиральной машины с охапкой мокрого белья в ванную. С неудовольствием обнаружила, сколько пыли скопилось на люстре и на карнизах. С облегчением ощутила, как легко стало доставать книгу с верхней полки стеллажа и поливать цветок, стоящий на шкафу.

Главной трудностью было теперь не забыть, не воспарить в присутствии мужа или других каких-нибудь людей.

Один раз чуть не погорела: сидя в кресле с томиком стихов, так зачиталась, так преисполнилась того самого чувства возвышающей, окрыляющей легкости, что, оторвав глаза от страницы, обнаружила себя висящей над креслом уже, наверное, в полуметре. Осторожно вернула себя назад, вниз, не спуская глаз с Константина Палыча. Он, на счастье, кажется, как раз задремал под монотонную телевизионную бубнежку.

Летала Людмила Михайловна и во сне. Но не так буднично, как днем, не так приземленно, а высоко. Чаще всего виделось ей, что она гуляет по Воробьевым горам, подходит к балюстраде, где стоят люди, любят вид на город. А она отталкивалась от земли, взмывала вверх и парила, раскинув руки, описывала круги над Москвой: все шире и все дальше. Узнавала сверху знакомые улицы, проспекты, здания, площади, неслась над лентой реки, ощущая свежие влажные порывы ветра.

Иногда в первые дни еще укоряла себя. То ей чудилась какая-то безответственность в этих полетах, какая-то легкомысленность, то становилось неудобно перед мужем, от которого за всю долгую совместную жизнь по большому счету никогда ничего не скрывала. Но потом Людмила Михайловна убедила себя, что летает она безопасно: над полом невысоко, да и недалеко. А у Константина Палыча все-таки давление и сердце, так что его беспокоить совершенно не следует.

Да и когда разговоры разговаривать? Новый год на носу!

Дочка приедет с мужем, соседка придет. А это ведь все хлопоты. Квартиру убрать, купить продукты, подарки всем приготовить, елку нарядить, на стол накрыть. Не до разговоров. Вот потом, может быть, когда схлынут праздничные дни и все снова войдет в привычную колею, вот тогда и поговорит, пообещала себе Людмила Михайловна.

За день до праздника уже начала готовить угощение. Константин Палыч как раз из магазина вернулся.

– Костя, а свекла где? – спросила Людмила Михайловна, разбирая сумки.

– Завтра куплю, – отмахнулся он, тяжело опускаясь на стул.

– Какое завтра? Мне сегодня она нужна! Она же так долго варится! – засуетилась Людмила Михайловна. – Мы что же, по-твоему, без селедки под шубой будем за новогодним столом?

Константин Палыч только закричал, завздыхал недовольно.

– Ладно уж, сиди, – она даже махнула на него рукой, – сама слетаю быстренько.

И осеклась, испугалась того, что сказала. Но Константин Палыч только кивнул устало:

– Ну слетай, слетай.

Она и полетела. Ноги в сапоги, шапку нахлобучила, руки в рукава сунула – что там, до ближайшего магазина добежать. Отогнала Боньку от дверей и по лестнице, со своего третьего

этажа, действительно не сошла, а слетела, мягко проскользила над ступеньками, плавно огибая перила на поворотах, напевая под нос что-то стремительное и даже бравурное. Дверь распахнула и нос к носу столкнулась с соседкой. С той самой, что должна завтра в гости прийти. Да не важно, с какой. Главное, что столкнулась, вися в воздухе. Несуразно, невозможно, наплевав на все законы гравитации. В ту же секунду все осознала, спохватилась, сдернула себя вниз, к земле. А там как раз порожек металлический, скользкий. Одна нога подвернулась, стрельнула острой болью вверх, к колену, да так, что в глазах заплясали огоньки.

– Ой! – вскрикнула Людмила Михайловна. Другая нога поехала по плиткам пола, так что она только руками взмахнула и начала падать. Хорошо, соседка подхватила.

– Что же это ты, Люсенька! – запричитала она. – Я аж испугалась, как вылетела на меня. Смотрю, а это ты. Держу, держу, поднимайся.

Опираясь на соседкино плечо, ощущая весь свой настоящий вес, Людмила Михайловна попыталась подняться и встать прямо. Но одна нога снова отозвалась резкой болью. Только бы не перелом.

Кое-как допрыгала, доковыляла с соседкиной помощью до квартиры. А там уже и Константин Палыч помог. Довели вдвоем до кресла, усадили, раздели. Сапог с пострадавшей ноги насилу стянули: лодыжка уже распухла.

– «Скорую», «скорую» вызывай, Константин Палыч! – по-

вторяла без конца соседка, словно заговаривая чужую боль.

И завертелось. Сначала врач приезжал. Не перелом, слава богу, только растяжение. Но на ногу-то все равно не опереться. А как же теперь готовить, как же праздник? Это ведь завтра уже, и гости будут. Как же теперь с ними? Соседка дважды еще приходила, узнать, как да что. Дочка звонила, говорили долго, она утешала, обещала, что завтра с мужем пораньше приедут и сами все приготовят к столу.

Часа через три только, наверное, все улеглось: отзвенел телефон, отхлопали двери, откатили немного суетливые переживания. Константин Палыч опустил со вздохом на кресло, щелкнул телевизионным пультом, Бонька запрыгнул на диван, обнюхал перебинтованную ногу, сочувственно улегся рядом.

– Вот и слетала в магазин, – в который уже раз сокрушенно покачала головой Людмила Михайловна.

– А нечего потому что в таком возрасте летать, – проворчал, не отрывая глаз от экрана, Константин Палыч. – Я как заметил, сразу тебе сказать хотел. Да толку-то. Ты всегда такая была: что вобьешь себе в голову, так уж все.

– Ты о чем это? – испуганно затаив дыхание, уточнила Людмила Михайловна.

– О чем? Да про полеты эти твои, – уже немного раздражаясь, заговорил муж. – Ты что же думала, я не замечаю? Все-таки в одной квартире живем. Только отвернусь, глядь – а она опять полетела. Низенько так, по-над полом. И думает,

я не вижу. Думает, совсем ослеп к старости.

– Костя... – пролепетала Людмила Михайловна. – Да как же ты...

– А что я? – Теперь он развернулся к ней и заговорил с обидой: – Что я? Я – старый пень, корни пустил в это кресло. А ты у нас – возвышенная натура, окрыленная. Как выходной или просто после работы – так театры, концерты, книжки со стихами, пластинки. И все витала где-то. А что я? Мне нравилось. Не то что у других: пеленки, покупки, дача, огород. Я не говорю ничего, ты мне такой как раз и нравилась. Но сейчас-то, Люся! В семьдесят-то лет. Нам уже с тобой пора, как говорится, к земле привыкать, а ты тут и вовсе воспарила. Да не как-то там, а прямо вот по-настоящему. Когда ты с Бонькой гуляешь, я в окно смотрю – как ты там на пустырьке нашем ходишь: шаг сделаешь, оттолкнешься и летишь. А Бонька вокруг скачет. А я стою, смотрю и думаю: как же так-то? А как же мне теперь быть?

– Костя, – нашла наконец какие-то слова Людмила Михайловна, – Костя, ты прости меня, что я тебе не говорила. Ну как бы я сказала? Ведь это же что-то совершенно – согласишься! – ну просто совершенно невозможное!

– Возможное-невозможное, – проворчал он, – но сказать-то могла. Столько лет вместе прожили. Смотрю – летает. И не говорит ни слова. А мне-то как теперь быть?

– Ну, Костя... – снова сказала Людмила Михайловна, но он только отвернулся, брови сдвинул сердито и уставился на

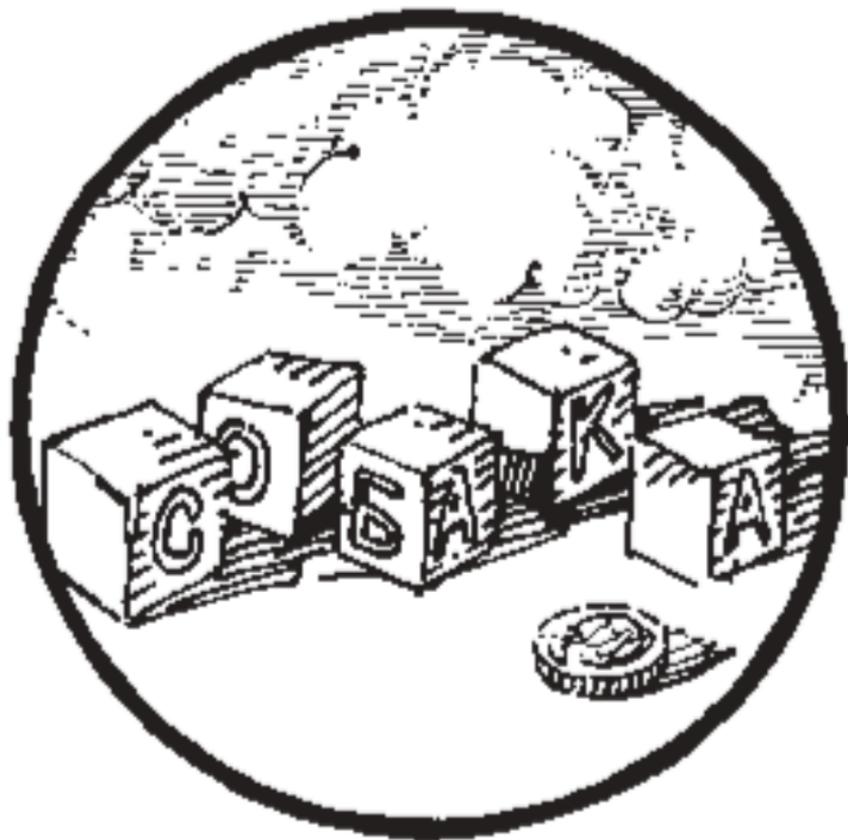
экран телевизора, как будто там было что-то важнее, как будто бы там ему доверяли любые тайны.

Людмила Михайловна не знала, что сказать. Хотелось подняться с дивана, подойти к мужу, обнять, попросить еще раз прощения за то, что утаила, не поделилась с ним таким чудесным и небывалым. Лучше даже просто глазами прощения попросить, без лишних слов. Она откинула одеяло, спустила ноги на пол, попыталась подняться. Нога отозвалась сердитой болью. Тогда Людмила Михайловна выдохнула и на волне светлого какого-то и теплого чувства вспорхнула с дивана и подлетела к мужу. Обняла его сзади за плечи:

– Ну, Костя...

– Эх, Люся, – вздохнул он, и она услышала по его голосу, что уже прощена, и что теперь она не одна со своим странным непрошеным даром, и теперь можно будет говорить об этом и перестать жить с вечной оглядкой.

– Дочке-то скажем?



# Сергей Кубрин

## Начальник

*Полковнику Молянову С. А.*

Полицейская собака Ла-пуля снова родила щенят: дворовых и беспородных, самых обычных, с прямым черным окрасом и блеклым цветом глаз. Таких – пруд пруди в каждом подвале, в каждой подворотне, у каждого мусорного бака, на любой контрольной точке или зоне обхода дежурного патруля. Не знающие людской заботы, скулящие и звенящие, исход судьбы которых невелик: найти хозяйские руки или прыгнуть в тревожный вещмешок, оказавшись где-нибудь за городом.

Может, потому весь личный состав с самого дня рождения стал бороться за право выбора – мне вот этого, а мне вон того. Смотри, какая морда, добавляя понятное: «Мужи-иик». Щенки рано отстали от матери, носились по дворовой территории отдела, цеплялись за штанины пепеэсников. Те, уставшие после ночного дежурства, сперва шугали назойливых щенят, но, одумавшись, скоро брали на руки молодое собачье пополнение.

Честно говоря, сами щенки больше всего любили этих

сержантиков, носящих почетную должность сотрудников патрульно-постовой службы. Переулки и городские тупики, улицы и закоулки, важное прописное условие: охраняй правопорядок, следи за пропускным режимом.

Щенки несли дежурство у въездных ворот. И если появлялся на той стороне жизни случайный прохожий или бдительный гражданин, давились ребяческим рыком, исполняя отеческий долг.

– Отставить, – давал команду пепеэсник, – ваши документы, пожалуйста.

И, выстроившись в ряд, опустив на потертый асфальт завитки дымчатых хвостов, провожали взглядом, как по команде «смирно», заявителей и потерпевших, жуликов и бандитов, патрульные «бобики», служебные ГНР-ки.

Оставалось лишь крикнуть что-то вроде «вольно», и щенята обязательно бы понеслись туда-сюда, рассредоточились по периметру, но отчего-то стеснялись они своих врожденных полицейских способностей, скрывали понимание уставного режима и дисциплинарной важности.

Сама Ла-пуля пряталась в будке и лишь изредка выходила, радуясь первым отголоскам предстоящей весны, блаженно похрипывая, когда кто-то теребил ее потрепанное старое пузо.

Начальник отдела, старый полковник, почти уже отучил мать-героиню подавать голос. Если та бежала к нему, заметив еще у самого входа статную офицерскую фигуру, и гото-

ва была уже разразиться лаем от радости встречи с хозяином, полковник поднимал ладонь, пронося ее с силой по воздуху, намекая как бы: станешь гавкать – прилетит и тебе.

Собака послушно утихала и только путалась под ногами, не давая сделать ни шагу.

Ла-пуле, само собой, хотелось налаяться от души, захлебнувшись собственной звериной силой, нарычать на непослушных щенят, заскулить от ночной апрельской тоски или вовсе проводить гавканьем местного жульбана. В общем-то долгое время она так и жила, если бы в одно обыкновенное утро в отдел полиции не обратилась женщина с определенно необыкновенным заявлением.

*«Прошу привлечь, – писала она аккуратным, но ершистым от негодования почерком, – к уголовной ответственности собаку, проживающую на территории отдела полиции, поскольку та издает лай в ночное время суток, тем самым мешает осуществлению сна и, соответственно, нарушает право человека на отдых».*

Дамочка, скорее всего, обладала некоторой юридической грамотностью и повышенным уровнем правосознания, воспринятого из массовых телепередач в духе «Часа суда», поскольку на возражение дежурного, что подобное заявление принимать не станет, пригрозила пальцем и пообещала – немедленно – идти в прокуратуру.

– Ну вы поймите, – настаивал дежурный, – ну как же мы привлечем к ответственности собаку?

– А вы спите по ночам? – кричала женщина. – А я вот не сплю! Убирайте эту сучку куда хотите! Так больше невозможно!

Скорее всего, и дежурный, и сотрудники, проходившие мимо, но вынужденные остановиться ради очередного нашествия жертвы весеннего помутнения, подумали: сучка здесь одна, и, так уж вышло, на данный момент это не всеми любимая Ла-пуля.

– Я вам говорю, женщина-аа, – с какой-то неестественной мольбой, что ли, выдавил дежурный.

– Я вам не женщина! – не унималась заявительница. – Женщина у вас дома, и то не факт, – усмехнулась она, оглянувшись в надежде найти представителей жалобщиков, способных разделить ее тонкое чувство юмора. Но никого из гражданских не было рядом, кроме дохлого старичка, верно ожидавшего очереди и не способного, казалось, ни смеяться, ни плакать, ни – тем более – уподобиться язвительному трепу. – Так вот, я для вас – гражданка в первую очередь. А следовательно, имею право! Понимаете, – ударила она кулаком о часть примыкающего к защитному стеклу выступа, – я имею полное пра...

– Гражданка! – возникший откуда-то встречный голос, словно резкий морской ветер, сбил ее поставленную галерную речь, и гражданка с товарным запасом прав и свобод примкнула к берегу взаимного понимания. – Гражданка, что у вас стряслось? Ну, что же вы так переживаете?

Должно быть, женщина (а как ни крути, она все-таки была самой обычной женщиной), пусть на самое незначительное, но всеми заметное время, утихла, уставившись на полковника. Убедившись, что тот – действительно полковник, оценив треугольник внушительных звезд на погонах, ответила, на удивление спокойно (а ведь умеет) и даже не с требованием, а просьбой:

– Вы же начальник, правильно? Товарищ начальник, помогите мне.

Полковник кивнул дежурному, тот нажал кнопку на пульте, открылся пропускной турникет, и женщина-гражданка полноправно внесла свою невозможную проблему внутрь нашего – лучшего за отчетный период – отдела города. И уже через некоторое время, проводив взглядом дежурного, достойно державшего оборону, одарив старую, но надежную деревянную лестницу уверенным стуком набоек, вошла в кабинет начальника, и тот, молча закрыв дверь, указал ей на стул.

Будь он не начальником, точнее, если бы не эта женщина, наш полковник обязательно сказал бы что-то вроде: «Место!», а раз уж речь зашла о собаке, подобная смысловая точка пришлась до предела кстати.

Но полковник избегал остроумных диалогов и центровых ударов, когда лично общался с заявителями, тем более, с известной всем категорией незаслуженно обиженных, лишенных естественных и неотчуждаемых (согласно основному за-

кону) прав, – потому что клялся «свято исполнять и строго соблюдать», положив ладонь пусть не на Конституцию, но, наверное, к сердцу или куда там прикладывают свободную руку во время церемониальных назначений на должности руководящего состава.

– Я вас слушаю, – сказал полковник и сделал вид, что действительно слушает, несмотря на то, что тут же достал нескончаемую кипу бумаг, забродил по строчкам, замахал пастой, оставляя подпись под резолюцией. Он кивал, когда гражданка изливала тревожную суть и проблемное содержание жалобы, оттого дамочка с большей уверенностью, что «имеет право», продолжала окрашивать самыми бестактными оттенками бедную Ла-пулю.

Начальник, не поднимая глаз и не расставаясь с тяжестью протокольных листов, позволял себе ответные реплики в форме «Вот так, да» или «Какой ужас», придавая обиженному монологу кажущийся контактный фон. Но на самом деле сам полковник скорее всего не понимал, общается ли он прямо сейчас с заявительницей или – заочно – с исполнителем прилетевших на его стол документов.

– Ну как же так! – выдал во весь широкий трубный голос полковник, швырнув ручку до самого победного края громадного стола, и женщина примолкла. Она уставилась в лицо полковника, привыкшее за годы службы скрывать любое проявление эмоций, но в душу начальника, конечно, заглянуть не смогла, потому не разглядела ни грохочущих нена-

вистных гейзеров, ни падающих водопадов, бьющихся о камне крепнущего недовольства и злости.

Это была вынужденная злость, поскольку сам полковник в мирной внеслужебной жизни отличался нетипичной добротой и развитым чувством уважения, что, в общем-то, не имеет, как говорится, отношения к делу. Тем более, не было до этого дела и самой гражданке. Она лишь закивала судорожно своим острым подбородком, предчувствуя, как прямо сейчас – взбудораженный от случившейся нелепости – начальник разрешит ситуацию: возьмет служебное оружие, снарядит магазин восемью патронами и выпустит их все в виновника суматохи.

Ведь этот случай, думала женщина, точно особенный. Потому она ждала и ждала, что же скажет начальник, как реагирует на невозможную беду, и долго ли еще будет слышен этот беспокойный лай полицейской собаки. В конце-то концов.

Наконец полковник заметил присутствие дамочки, и теперь брошенные им «как же так» и «какой ужас» нашли, к счастью, своего адресата.

– Вот-вот, – зашебетала женщина.

– Вот-вот, – повторил зачем-то полковник.

– И вы представляете, я сплю, а вообще я очень крепко сплю. Но этот вот лай, вы понимаете? Вы должны принять меры, уважаемый товарищ начальник милиции.

– Полиции, – поправил начальник.

– Полиции, – исправилась дама, усмехнувшись, – милиция-полиция, какая разница, черт вас разберет.

Полковник насторожился, а дамочка осеклась.

– ...То есть я имела в виду, что... Ну, вы понимаете, да? Начальник кивнул и все окончательно понял.

В этом «все», должно быть, находилось куда больше, чем собачье гавканье, и отсутствие сна, и даже нарушение пришитого к проблеме права на отдых. По крайней мере, полковник в очередной раз подумал о том самом неуважении граждан к органам правопорядка, о котором повсюду говорят, и, скорее всего, зря говорят, но разве кому объяснишь и захочет ли кто понимать.

Он подумал и про мнимую вежливость этих же граждан, встретившихся с бедой, и даже вспомнил отчего-то свою молодость и вечно серый асфальтированный плац курсантского училища, и таким же серым представилась вся его прошедшая жизнь, точнее, результат этой жизни – как ни крути, далеко не серой по сути.

Ему вдруг показалось, что, наверное, в этом людском недоверии и отсутствии должного уважения и есть смысл, и оттого стало легче. Ну, то есть какой смысл: ты работаешь и, скорее всего, работаешь хорошо, потому что в районе стало тише и вообще раскрываемость заметно возросла, и, может, потому не доверяют, что вера вообще понятие невозможное. А поверят, лишь когда исчезнет предполагаемый объект доверия, но в таком случае наступят полный хаос и бесправие,

и тогда все поймут и оценят, и все в этом роде.

Полковник всегда размышлял так неспешно и так непонятно. Он вообще не любил говорить просто и бесцельно, предпочитая долгие, зачастую ведущие в тупик мыслительные процессы.

Не родился бы он сотрудником (а ими, настоящими, все-таки рождаются) и не стал бы начальником, а был бы кем-нибудь схожим с городским пижоном или на худой конец сотрудником кафедры тепловой обработки материалов, первый встречный – ему подобный – обязательно сказал бы с невнятным, но искренним акцентом:

«a person of great intelligence». Да что уж, сам полковник считал себя таким: умным, незаурядным и конечно же интеллигентным.

Только ради соответствия истинным качествам и моральным принципам полковник не стал убеждать заявительницу, что с подобными проблемами в полицию лучше не обращаться. Жаловаться на лай можно кому угодно: собачьему или людскому богу, председателю животного кооператива во главе с царем зверей, бабушкам-старушкам, восседающим на скамейках возле подъездов, в конце концов, активным блогерам, руководителям групп социальных сетей, журналистам, но только не полиции.

Начальник бы при этом с удовольствием раскрыл дамочке книгу учета сообщений о происшествиях (сокращенно КУСП), сводку за истекшие сутки, и, кто знает, может, да-

мочка бы поняла, что есть вещи посерьезнее собак, а происшествия – страшнее, чем природное гавканье. Но служебную тайну никто не отменял, как и обязанность регистрировать любое поступившее обращение.

Именно поэтому начальник сказал женщине:

– Не переживайте. Мы что-нибудь придумаем. Мы обязательно разберемся.

Дамочка уже уходила, но, только переступив порог, появилась снова и зачем-то добавила:

– Постарайтесь не медлить, а то...

Она не закончила, и оставалось только предполагать, что же скрывается в многозначительном «а то...», но, скорее всего, полковник понял – в противном случае, женщина отправится выше, закидает жалобами приемные генералов, прокурорские канцелярии, кабинеты общественных объединений и правозащитных организаций.

Сначала кому-то звонил и даже что-то докладывал, после на доклад приходили к нему, и начальник спрашивал по всей строгости закона. Удавалось ему сквозь громкий стальной голос не терять самообладания. Даже в моменты почти очевидного срыва держался нерушимо туго, ровно крепил спину и едва заметно тянул подбородок.

Но когда кабинет опустел, когда полковник понял, что есть время до вечерней планерки и, скорее всего, в ближайший час его никто не потревожит, он буквально рухнул в рабочее кресло и выдохнул протяжное «уу-ууу-х».

Что-то нужно было решать с этим заявлением, и, конечно, полковник понимал: единственный выход – как можно быстрее избавиться от Ла-пули. Но, представив, как дает команду тыловику, как ту помещают в багажник и увозят куда-то за город или в другой район хотя бы – куда угодно, лишь бы не слышал никто ее волнительный лай, – стало ему настолько нехорошо, что пришлось даже открыть окно, иначе крепнущая духота поборола бы его.

Двор жил. Урчал мотор дежурной «газели», что-то невнятное пытались донести полупьяные административно-задержанные, протрезвевшие уже и получившие право минутного перекура. Кто-то из сотрудников неприлично громко смеялся, но полковник был не из тех, кто противился смеху в рабочее время, полагая, что смех если и не продлевает жизнь, то точно придает ей смысл.

Сам он тоже любил пошутить, но понимал, что служба – не шутка, и если уж судьба предоставила ему когда-то такое право, значит, нужно идти серьезно и уверенно, почти как строевым шагом по бесконечно долгому плацу. Он часто думал, что служба выбрала его, а не он службу, потому относился к ней, как к священному долгу, установленному не законом, а почти божественной волей.

Но сейчас он мог выбирать, точнее, обязан был сделать выбор: интересы граждан или бедная собака, к которой давно привязался и, может, полюбил. Что-то подсказывало ему, наверное, совесть уговаривала: оставь Ла-пулю, пусть живет,

но свежий офицерский разум убеждал: действуй иначе, не нужны тебе проблемы.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.